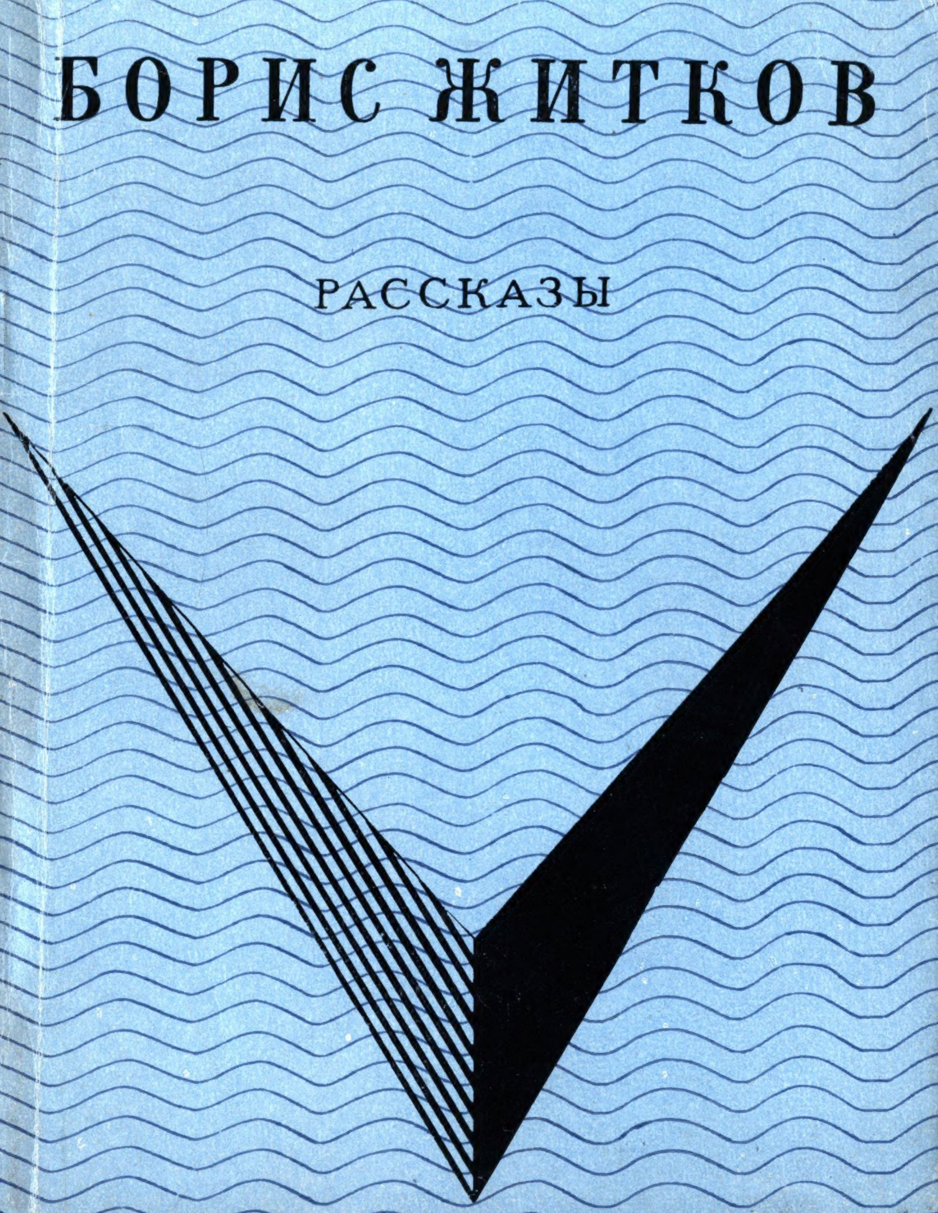

БОРИС ЖИТКОВ
РАССКАЗЫ

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

БОРИС ЖИТКОВ

РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА — 1968

МОРСКИЕ ИСТОРИИ

«ПОГИБЕЛЬ»

Так все в порту и звали этот пароход; на него я нанялся поденщиком. Так и сказали мне кричать: «На «Погибели»! Давай шлюпку!» Пароход стоял у стенки волнолома. Наконец шлюпка отвалила. Один человек юлил веслом за кормой. Человек оказался рыжий. Весь в ржавчине и в веснушках. Я сказал, что хозяин прислал меня поденщиком. Рыжий сказал:

— Ну, вались! Юли сам назад.

Он пихнул весло ко мне, а сам сел на банку. Я погнал шлюпку. На полдороге рыжий спросил:

— Ты знаешь, куда поступил?

— Чего мне знать? На поденщину. Ржу обивать.

— На «Погибель» ты поступил. Если там ржу обить, так останется от нас всего, что только нас — четыре поденщика. Ты приставать будешь, так легче — борт пробьешь.

— Заливай! — сказал я.

— Нам, брат, не заливать, а отливать только поспевай. Смеешься? Мы на палубе ночуем, а то как пойдет под заныр — выскочить не успеешь.

Мы подошли к борту. Борт был страшный: рябые ржавые листы местами были закрашены суриком, вмятины обрисовывали ребра, как у голодной клячи. Пока я влезал по штурмтрапу, я уже измазался ржавчиной. Я вошел в кубрик, поздоровался и поставил на стол две бутылки водки. В кубрике было полутемно, и, когда зажгли лампу, я поразился обстановкой: все, все — и деревянные койки, и стол, и скамейка — все было черно и все было изъедено

морским червем. Лампа была зеленого цвета, иллюминаторные рамы, медные крючки и замки на дверях — вся медь была густо-зеленого цвета. На потолке приросла засохшая ракушка.

— Что смотришь? — сказал рыжий. — «Погибель» пять лет на боку под берегом лежала. Здесь утопленники в карты дулись. Вот на этом самом столе.

— А до того на ней без ремонту пятьдесят годов кряду мертвых спать возили.

Это сказал другой, маленького роста, седоватый.

Третий все молчал и сидел в углу.

Стали пить водку. Закусывали луком, грызли его, как яблоки. Больше ничего у поденщиков не нашлось. Я узнал, что рыжего зовут Яшкой, а старика — Афанасием Ивановичем.

— Маша, Маша! — закричал рыжий. Я оглянулся. — Маша, ты сядь к нам, выпей.

Третий, что сидел в углу, поднялся и подошел. Это был человек высокого роста, с большими черными глазами. «Грек — не грек», — подумал я.

— Да ты не удивляйся: у него бабье имя — Мария. У него с пяток имен, и вот Мария тоже. Так мы его — Маша. Он не русский — испанец. Испаньоло! — Тут Яшка ткнул испанца в плечо и показал на жестяную кружку. — Вали!

Испанец немного отпил. Яшка со стариком собирались на берег за третьей бутылкой. Я отдал последние медяки. Мы остались с испанцем вдвоем. Он плохо говорил по-русски. Но я кое-как понимал. Он прихлебывал водку, будто вино, из стакана. Сначала конфузился, потом сел картинно, а потом вскакивал на ноги, когда говорил.

Он рассказал мне, что был тореадором. Я первый раз в жизни видел живого тореадора. Он был в синей куртке, в парусиновых портках, весь измазан ржавчиной, но так бойко вскакивал на ноги и в такие позиции становился, что я забыл, в чем он одет. Казалось, все блестит на нем. Я только боялся, чтобы не вернулись Яшка с Афанасием и не сбили бы с ходу тореадора. Он говорил, что уже входил

в славу. Был на лучшей дороге. Жил в гостинице. Каждый день с утра — цветы. Полно, полно цветов! Руками показывал, сколько, — некуда поставить. Прислуга крала, торговала этими цветами. Даже в комнате было душно от цветов. У него был выпад — удар шпагой — такой, как ни у кого, — молния!

— Я не становился в позицию, я стоял как будто рассеянно, как будто я сейчас буду ногти чистить. И я следил глазами за быком, я точно знал, что это — последний миг. Нет, пол, четверть мига! — Он звонко щелкнул ногтями. — И вот замерли, всем кажется, что вот поздно уже, — и в это мгновение — молния! — Испанец ткнул в воздух рукой. Я, сидя, отшатнулся. — Вот! И секунду весь цирк молчит, и я слышу шум вздоха. Вы знаете, когда весь цирк враз вздохнет... Что аплодисменты! — Он небрежно постукал в ладонь. — Или крик. Это что! Но надо знать быка. Надо смотреть на его скок, на его прыть, когда его дразнят, когда бросают бандерильи[1], когда он бодает лошадь, — это все надо подметить, тогда можно угадать это мгновение: вот он стоит перед тобой, и вот... и тут молния. Ах! И это все.

Он сел.

И вот раз случилось — на полмгновения раньше ринулся бык. Тореадор стоял небрежно, как всегда. Он не мог отскочить и ткнул шпагой, просто защищаясь, ткнул не по правилам и не туда, за рогами, — ткнул, чтобы попасть в сердце. Он убил быка, спасая свою жизнь. Цирк взревел. Он слышал, что крикнули: «Мясник!» Шпага осталась в быке, а он бежал, как был, в тореадорском наряде, — он знал, что его разорвет толпа. Бежал даже больше от стыда, как сфальшививший на поединке трус. Дело было в портовом городе, и он не помнит, как оказался на иностранном пароходе и там забился в какой-то угол. Он не выходил на свет до самого отхода. А потом ему дали переодеться и сунули в руки лопату.

[1] Бандерильи — стрелы, которые бросают в быка, чтобы раздразнить его.

— Теперь я угольщик — карбонеро. Но я сказал себе, что это я испугался первый, но и последний раз. Я теперь всю жизнь ничего не смею пугаться.

Афанасий с Яшкой уже стояли в дверях. Они выпили по дороге половину.

— Ничего не должен бояться! — закричал Яшка с порога.— А ну! Ну! Ты плавать, говоришь, не можешь? Нет? Ну, прыгай с борта в воду. Трусишь! Машка, должен ты сейчас прыгать, или ты...

Но испанец уже шел к дверям. Я побежал за ним, но он оттолкнул Яшку и вышел на палубу. Было темно, только далеко на пристани горели фонари. Внизу с высокого борта вода чернела, как мокрый асфальт. Я не успел задержать испанца, он козлом перемахнул через борт и сильно плюхнул внизу. Яшка с Афонькой притопали к борту.

— Круг, круг давай! — кричал я им; но они, свесившись, глядели за борт.

— Греха-то, греха! — завыл Афанасий.

— А ну, вынырнет где? Или раков кормит? — пьяной губой шлепал Яшка.

Я бросился по штурмтрапу к шлюпке.

Я слышал, как сверху закричали:

— Ай, Машка, выплыл!

Я не успел отвязать шлюпку: испанец неподалеку бил по воде руками. Я подсунул ему весло. Он ухватился.

В кубрике я совал мокрому испанцу свою куртку, Афанасий — кружку с водкой. Испанец отмахивался.

— Ну, скажи, какая утопленница фокусная, — хрипел Яшка.

Они с Афанасием допили.

— Да и черт с тобой! — бубнил Яшка.— Утопленница! Думаешь, испугался? Да тут поискать — может, в каком углу и живой утопленник-то есть,— я говорю, дохлый,— найдется на «Погибели» на нашей, где-нибудь в трюмах. Или под котлами? А? Афонька, правду я говорю?

Но никто не отвечал. Яшка погрыз луковицу. Поглядел на нас и вдруг озлился:

— В воду летом сигать,— подумаешь, фокус какой, а вот я сейчас пойду в машину, и я вот этой кувалдой как тарарахну по борту, так вся она, «Погибель» эта, тут на дно и сядет. Что! Тогда сами, как лягушата, с нее попрыгаете. Машка первый. Что? Не пробью? Нет? А вон!

Яшка схватил из-под койки тяжелую скрябку и изо всей силы швырнул ею в борт. На том месте осталась черная дырка — скрябка пролетела наружу.

— Ага! Ага!— закричал Яшка.

Он схватил из угла кувалду, вскинул на плечи и, мотаясь на ходу, побежал к двери.

— Вот сейчас вы у меня увидите!

Афанасий слабо махал вслед рукой.

— Не дойти ему... темно... трап крутой...

Мы слышали, как Яшка обронил кувалду на железную палубу и как поволочил ее.

Афанасий пьяно мотал головой и махал на дверь рукой:

— Там и заснет... и свалится в болото.

Испанец подрагивал в одном белье. Лампа потрескивала. Афанасий заснул сидя.

Вдруг мы услышали глухие стуки; они по железу корпуса ясно доносились к нам в кубрик. Афанасий встрепенулся.

— Крушит, ей-богу, крушит! Очень просто, что проломает. Не... не переночуем.

Он встал. Вскочил и испанец. Он бросился к своему сундучку, огарок свечи уж у него в руках; он схватил со стола спички и был уже на палубе, пока я вылез из-за стола.

— Го! го! — кричал испанец откуда-то снизу.

Я не знал этого огромного парохода. Шел спотыкаясь, наобум, пока не увидел, что свет маячит где-то справа. Я бросился туда. Свет был из входного люка. Оттуда глухо я слышал «го! го!». Я спустился по трапу. Нащупал ход. Вот коридор. Вдали белая фигура со свечкой — испанец. Я догнал его бегом. Сзади где-то дрябло топали сапоги

Афоньки. При свечке видны были вымоченные посинелые двери кают, кожа на диванах, треснувшая, как картон, позеленелые медные часы и желтый намет песку в углу кают-компании. Местами сухие водоросли свешивались с потолка и щекотали лицо. А снизу бухал и бухал молот. То замирая, то остервеняясь, ухали удары.

Вот трап вниз. Испанец легко босыми ногами перебирал ступеньки. Я боялся потерять его свечку. Сзади я слышал, как падал и ругался старик. Мы теперь были ниже уровня воды.

Вдруг удары молота смолкли, и в дали коридора из дверей высунулась рожа.

— Ага! Перетрусили! А я и не пущу!

И дверь захлопнулась. Когда мы добежали, дверь уже не поддавалась. Яшка, видно, припер ее чем-нибудь изнутри. Молот бил теперь отчаянно.

Я кричал, но не слышал своего голоса за гулом. Удары скоро оборвались.

— Что? — услышали мы запыхавшийся Яшкин голос.— Теперь на коленках... просите... Машка, проси меня по-испански...

Испанец стукнул ногой в дверь. Стукнул голой пяткой, и дверь затрещала. Вот они, легкие ноги!

— Открой, дурак!— крикнул я.

— Стой, ребята! — Афанасий просунулся между нами.— Он это по цементу садит. Там этого цемента пол-аршина,— шептал старик. И вдруг гнусавым голоском, как дьячок с клироса, Афанасий запел: — Тебя мы здесь запре-ем! И ты сыщешь себе гнусную могилу на этой «Погибели». А мы пошли! На шлюпку! И на берег! И будь ты четырежды анафема. Примешь смерть, как мышь в ведре. Аминь!

Афанасий икнул. Минуту было молчание. Потом два раза стукнул молот. Но уже слабо.

— Пошли!— скомандовал Афанасий громко.

Мы двинулись. И вдруг сзади услыхали бой и треск: это Яшка крушил кувалдой дверь.

Афанасий дунул на свечку, толкнул меня и шепнул:

— Ховайся!

Мы с испанцем ощупью юркнули в какую-то дверь и замерли. Мимо нас прошлепал сумасшедшей рысью Яшка. На бегу он кричал:

— Пошла, пошла! Ходом пошла вода!

Я слышал, как за Яшкой затопал старик. Он успел крикнуть:

— Тикайте!

Но испанец снова зажег свечу и спросил меня, что случилось. Я сказал:

— Он пробил насквозь, пошла вода, как водопад.

Испанец весь напружинился.

— Они туда, — он указал вдоль коридора, — а я должен сюда.

И он зашагал к разбитой двери.

Я понимал, что Яшка не мог сделать пробоину, от которой наша «Погибель» пошла бы ко дну сразу, как дырявая плошка, но, если вся подводная часть держалась на цементе, мог провалиться в тартарары сразу большой кусок обшивки. Она — как слоеный пирог из трухлявых листков хрупкой ржавчины.

Но испанец шел уже со свечкой, он отгреб обломки двери. Он выпрямился, напружинился, будто шел на арену.

Мы вошли в небольшое помещение. Среди разбитых досок, черных, источенных червями, разбросан был цемент, разбитый в щербинку. Кувалда валялась тут же. Воды не сочилось ни капли.

Испанец нахмурился, коряво обругался по-русски, и мы молча поплелись обратно.

В кубрике мы не нашли ни Яшки, ни Афанасия. Под бортом я не увидел шлюпки. Уже занималась заря, когда мы легли спать в кубрике. На «Погибели» нас осталось двое в эту ночь.

— Как это по-русски? — вдруг спросил испанец, когда я уже начал дремать. — Я не можно...

Я догадался.

— Я не должен ничего бояться. Спите, дон Мария, ну его — на сегодня хватит.

Я забыл, что уже наступило «завтра».

А назавтра не оказалось ни шлюпки, ни Яшки с Афанасием, ни кое-чего из сундучка испанца.

Испанец мне объяснил, что наша работа заключается в осторожном отбивании ржавчины и подмазывании оставшегося суриком. К полудню он меня спросил:

— Как это: мне не можно?..

Но я был голоден и сказал:

— Не можно голодать вторые сутки, вот что.

Я бросил скрябку и рашкет и полез просить харчей на соседнюю баржу: она стояла у стенки, неподалеку от нас. Я добыл хлеба, кукурузной муки, и мы на горне варили кашу без грамма жиру. Машка называл наш корабль «Погибелья». Я объяснил ему, что это по-русски значит.

Под вечер приехал хозяин, привез полтора десятка поденщиков, и пошел ремонт.

У нас с испанцем удержалась дружба. Мы работали вместе на подвеске за бортом, и он пел в такт молотка испанские песни. Каждый день хозяин давал расчет, и мы получали свои «рупь двадцать». И каждое утро испанец спрашивал: «Как это: мне не можно?..» — и я учил его говорить: «Я не должен всю жизнь ничего бояться».

Это так. А ремонт я понял. Хозяин готовил судно, как барышник лошадь, лишь бы не тонуло и могло двигаться. «Ремонт» приходил к концу. Все поденщики понимали, в чем дело.

— На таком судне только пьяный дурак в море пойдет, одно слово — «Погибель», — говорили поденщики.

Я это понимал не хуже их.

Судно назвали «Петр Карпов». Сам Петр Карпов как-то под вечер явился на судно и объявил, что все могут идти на берег. Ремонт закончен. На другой день члены комиссии с осмотром прошли по судну, после завтрака, шатаясь и с очень громкими голосами: главный инженер попал ногой

между шлюпкой и трапом. Но его быстро вынули из воды, так что даже не успел намокнуть.

— Что, боитесь остаться? — спросил нас хозяин, когда увезли комиссию. — Кто не боится?

И хозяин лихо вздернул подбородком ввысь.

— Не должны бояться...

Гляжу, мой испанец вышагнул вперед:

— Я!

Не знаю почему, но и я сделал за ним шаг. Хозяин прищурился на нас и спросил фамилии.

На другой день нас поставили к пристани под погрузку. Песку уже достаточно взято было для балласта. Ну, пусть песок, это экономия. Но ящики с апельсинами, что подавали с берега в трюм, были что-то легковаты. Я хотел взять один хотя бы апельсин, подорвал в трюме ящик, он оказался порожним. Я подорвал еще десятка с три; только в четырех были апельсины. Я сказал об этом испанцу. Он, помоему, только обрадовался. Будто я не понял, что дело становится все темней и темней. Помощники капитана распоряжались погрузкой. Капитана мы все еще не видели.

Наконец был назначен день отхода. За сутки пригнали кочегаров. Испанец пришел, махая руками:

— Это разбойники и пьяницы. Я один за всех.

Однако пар подняли. Котлы текли, и пар шел от котлов, как от самовара. Два юрких механика поспевали всюду: они сами хватались за лопаты и кидали уголь, потом мазали машину. К нашему удивлению, в четыре часа вечера машина дала пробные обороты.

Наконец пригнали матросов. Их было семеро. Шестеро из них были пьяны, и пятеро сейчас же сознались, что они природные дворники. То есть... Что «то есть?» То есть после военной службы они ничем другим не занимались. Сюда пошли, соблазнившись деньгами. Какими? Они хныкали, пока не заснули.

Последним, за час до отхода, явился капитан. Это был толстенький человек, ядовитый, грязненький. Глазки навы-

кате. Он ими вовсе не глядел в лицо, а если вдруг упирался глазами в глаза, то глядел, как очумелый баран. И человек не знал: бросится ли он на него или навек замрет, застекленеет в своем взгляде и потом не разбудишь?

Мы о нем ничего не успели услышать. Но только одно: когда он во время отхода вышел на капитанский мостик, то с берега грянуло такое «га», что мы долго не могли расслышать никакой команды. Мне все время хотелось выпрыгнуть на берег, но мне уже нельзя было бросить испанца.

Мы снялись под вечер. Испанец был на вахте внизу, в кочегарке. Мне заступать вахту на руль через час. Я глядел с борта на огни в городе, курил и сплевывал в воду. Было жутковато идти в море на такой посудине и с такой командой, но, признаться, меня забавляло: что же будет дальше? Я думал: зачем этот фальшивый груз?

И вдруг надо мной на мостике я услышал ругань. Сначала вполголоса, потом крик:

— Ну и гони его! В шею!

И по трапу скатился человек. Это был матрос. Следом за ним сбежал вниз старший помощник капитана. Было уже совсем темно. Он подскочил ко мне вплотную, сгреб за плечо и зло тряс:

— А ты-то, ты можешь стоять на руле?

Это шипел он мне в лицо. Я крепче потянул папироску, огонек раздулся, и я увидел лицо, оскаленное от злости. Не лицо, а кулак.

— А конечно, — сказал я.

— Ну так марш, марш! — Он тянул меня, вцепившись в плечо. — Вахта? Какие вам еще вахты? По сто целковых на брата дают, а еще вахты?

— Ничего мне не известно, — говорил я.

Но мы были уже на мостике. Свет из нактоуза освещал лицо капитана — это он сейчас стоял на руле.

— Так вот и держи: зюйд-ост шестьдесят три,— сказал капитан, когда я взялся за штурвал.

«Странный курс», — подумал я. Я знал, что груз адре-

сован на Ялту, что курс наш должен быть приблизительно градусов на двадцать южнее. Неужели такая поправка компаса?

Помощник стоял у меня за спиной и глядел через плечо, держу ли я пароход на курсе. Через пять минут он сунул мне папиросу в рот:

— На, кури!

И сам поднес спичку. Он стал ходить по мостику.

Я заметил, что он задерживается иногда подолгу в правом углу.

Наконец я увидел, что он запрокидывает голову, а вот швырнул за борт бутылку.

«Что за плавучий кабак, — думал я, — рулевой с папироской, а вахтенный штурман пьет на мостике прямо из горлышка!»

Я на минуту огляделся по сторонам: капитана уже не было.

Помощник подошел ко мне и над самым ухом сказал:

— Как же тебе не говорилось про сто рублей? — От него сильно разило вином. — Все равно получишь все.

Но в это время на мостик поднялся капитан. Я слышал, как помощник его спросил:

— Так вы говорите — еще упал? А вон штиль какой стоит! Могут и сутки-другие пройти.

Я понял, что они говорят про барометр. Мне слепил глаза свет из компаса, и я не видел впереди ничего, кроме ночи, но знал, что должен уж открыться Тендровский маяк. Он горит на конце низкой песчаной косы. Она тянется почти прямо на юг, сотни на полторы километров. Кроме кордонов пограничной стражи, ничего нет на этом песке. Редкий рыбак забредет сюда в это время года.

— Дайте-ка мне бинокль,— услыхал я голос капитана.— Верно, верно — это Тендровский.

И я услышал, как зазвонил телеграф в машине. Машина сбавила ход и теперь еле слышно ворчала внизу.

— Право!— скомандовал капитан. Он подошел к компасу.— Еще право! Так! Так и держи.

Мы шли теперь малым ходом на юг, то есть вдоль Тендровской косы.

— Огни гасите, — сказал капитан.

Они с помощником ушли в штурманскую рубку. И до меня через открытую дверь долетели слова:

— Именно, именно этим часом, на вашей вахте, так и запишите... Нет, вашей рукой должно быть записано в журнале: загорелся подшипник, коренной подшипник...— Это говорил капитан.— Теперь старшего механика ко мне с машинным журналом.

Через две минуты механик был здесь.

— Принесли машинный журнал? — слышал я капитана из штурманской.— Пишите: загорелся подшипник. Что-о? Струсил? Пиши, а то полетишь у меня за борт... Нет, не я должен, твоей рукой должно быть написано. Писать! Ага, то-то! Покажи! Ты что же это написал? Ах ты...

Механик быстро сбежал с трапа, как скатился. Я слышал, как капитан треснул журналом о стол, точно выстрел.

— А, черт! Помарок же делать нельзя!

Я уже давно отстоял свои два часа — часа три я уже стоял у штурвала.

— Ты отдохни, — сказал помощник. — Я постою. А ко мне пришли второго.

Я пошел вызывать второго штурмана на мостик. Он был грек, черный, как жук, маленький, на кривых ножках. Он вскочил с койки и затараторил куда-то мне через плечо, как будто кто еще за мной стоял. Я даже не мог понять: по-русски это он или по-гречески?

— Ой, голубчик, она ж лопнет сейчас, маты панайя[1], лопнет наша барка. Я уже не могу терпеть больше! — Он закрыл глаза и замотал головой. Я думал, она у него отлетит. — А, дьяволос! Когда же берег? Не знаешь? Я тоже не знаю, никто не знает. Хорошее дело. Ай, нет! Дело очень хорошее, очень-очень-очень может выйти хорошее дело. Ай, только надо берег, скорее берег! Ма, давай берег скорей! — Он топтался на месте. — Давай, давай!

[1] Греческая божба.

Но тут резкий свисток с мостика и крик:

— Спирка!

Спирка замахал руками и, как был, в брюках и сетке на голое тело, покатился по палубе. Таких шулеров я видел в севастопольских бильярдных.

В кубрике все спали. Только двое под лампой дулись в затрепанные карты. В жестяном чайнике нашелся холодный чай. Я потянул из носика и пошел на палубу посидеть.

Тендровский маяк слабо мерцал направо за кормой. С мостика было слышно, как галдел грек и как покрикивал старший помощник:

— Ты правь, Спирка, а не махай руками. Держись хоть за штурвал, обезьяна!

Из кочегарского кубрика протопали четверо — смена. И через минуту испанец сидел со мной рядом.

— Я бил их, механик тоже их бил. Они не могут кидать уголь, они не могут держать пар. Это не кочегары, это...

— Я перебил его:

— Ты знаешь, куда мы идем?

— Нет. — Испанец стал глядеть по сторонам, как будто можно было увидеть.

— И я не знаю. — И я ударил его кулаком по колену.— Понимаешь ты: это кабак плывет по морю. Кабак — ну, таверна, или как по-вашему?

И в тот же миг я вдруг отчетливо вспомнил треугольник из красных огней на молу на мачте, когда мы выходили,— штормовое предупреждение. Закрыл глаза на минуту и вспомнил, что вверх острием висели огни — шторм с юго-запада.

— Ты дурак, и я дурак, — говорил я. — Ведь это корыто развалится, это ж песок, склеенный слюнями. Как он от хода не рассыплется в порошок!

— Я не можно никогда...— Испанец встал.

Встал и я. И тут заметил, что пароход чуть покачивает на зыби.

Зыбь шла с правого борта, шла к юго-западу. Но ветра

еще не было. Зыбь шла с моря, оттуда, где работала уже погода.

— Хозе,— сказал я испанцу на ухо.— Ты смотри за шлюпками с правого борта, вон за теми, а я здесь. Они могут удрать и нас бросить, — я говорю про начальство. Капитан, механик, помощники...

Нет, Хозе ничего не понял.

— Хозе! Сядь здесь и смотри, чтобы не подходили к шлюпкам. И сейчас же скажи мне. Я буду здесь.

Но Хозе хотелось пить. Я сказал, что принесу ему целый чайник воды.

Когда я вышел с чайником на палубу, уже махал в воде порывистый, бойкий ветерок. Он наскакивал, отступал, пробегал дальше. И вдруг задуло. С мостика помощник свистел и кричал, чтобы я шел на руль. Там были уже капитан и оба помощника. Машина все так же работала малым ходом. Я оглянулся с мостика вдаль, назад, — Тендровского маяка уже не было видно.

Я взялся за штурвал — курс был тот же: на юг.

— Лево! — крикнул капитан.

Я сильно положил руль. Пароход покатился влево, и теперь мы шли прямо на восток, то есть прямехонько в берег, в эту песчаную косу, которую и днем-то за полкилометра иной раз не увидишь.

— Спирка! — крикнул капитан греку. — Пошел на лот! Пошел, не болтать мне!

Кто-то поднялся на мостик; я слышал, как он крикнул через ветер:

— Надо ходу больше, мы воду не успеваем качать!

— Вон отсюда! — крикнул капитан.

Зыбь теперь поддавала в корму справа. Я боялся, что каждую минуту может лопнуть пополам наша жестянка, вода хлынет в машину, под нами взорвутся котлы и кашлянет нами «Погибель», как вареным горохом. Скорей бы к берегу!

— Стоп машина! — скомандовал капитан.

Зазвонил телеграф. Но машина наддала ходу.

— Дайте им по зубам! — заорал капитан.

И помощник скатился с трапа.

Через минуту машина стала.

— Спирка! Набрось! — закричал в рупор капитан. — Сколько? Не слышу!

Спирка взбежал с мокрым линем[1] в руках.

— Двенадцать саженей! — крикнул Спирка. — Ну, ей-богу, двенадцать! Сейчас берег, честное слово, как я Спиро Тлевитис.

— Готовь якорь, — сказал капитан.

Но Спирка вернулся через минуту.

— Они все закачалися, капитан, они все как барашки, они рыгают, они не могут ничего, совсем...

— Молчать! — оборвал его капитан.— Зови из машины.

Ветер крепчал. Он уже рвал белые гребни валов. Наносило острый дождь; он бил в лицо, как свинцовой дробью.

— Бросай руль! — сказал мне капитан.— Найди людей, бей их аншпугом. Вывалить все четыре шлюпки за борт, приготовить к спуску!

Я бросился к испанцу. Хозе тянул из чайника воду и что-то жевал.

— Хозе, к шлюпкам! Бей их, скажи, что тонем.

Я вошел в кубрик, и меня едва не стошнило от вони.

— Вставай! Гибнем!

Многие сели на койках и глядели на меня, выпуча глаза. Но тошнить их перестало.

— Все на палубу! Марш!

Они спрыгивали с коек; я толкал, бил их в шею. Они падали на мокрой шатающейся палубе, вставали на четвереньки.

— На баке[2], я слышал, громыхала цепь, видно Спирка наладил дело, якорь готовит.

Кое-как добрались до шлюпок. Они лезли в них тут

---

[1] Линь — веревка лота.

[2] Бак — носовая часть палубы.

же, не вывалив их за борт. Я нашарил в шлюпке румпель[1] и бил этих людей по чему приходилось. Это привело их в чувство. Они теперь слушались и кое-как исполняли, что я велел.

На другом борту орудовал испанец с кочегарами. Мы возились уже с последней шлюпкой. Сколько всякого припасу было наложено в этих шлюпках! Тут грохнула цепь — это отдали якорь. Теперь ничего не было слышно. Над нашими головами ревел пар, его выпускали из котлов, — видно, боялись взрыва.

Теперь дело пошло легче: оба помощника и капитан помогали делу. Я бросил их на минуту, чтоб захватить из кубрика кое-что из моих вещей. По дороге я видел, как два механика освобождали запоры трюмов. В кубрике я застал Хозе. Он возился над своим сундучком, что-то выбирал оттуда. Лампа еще горела, и он подносил каждую вещь к лампе.

— Скорей!— крикнул я.— Они могут нас тут бросить.

— Я не можно...— Хозе улыбнулся.

— Пойдем!— Я дернул его за рукав.

Но он не спеша завязывал в узелок свои вещи. Ох, наконец он их завязал, надел узелок на локоть. Мы вышли. Команда уже сидела на шлюпках. Я боялся, что трудно будет спустить их с высокого борта. Но вода была теперь совсем близко. «Погибель» быстро набирала воду. Пароход грузно переваливался на волне. Казалось, что меньше стало качать. Он стоял теперь носом к зыби.

Одну шлюпку уже спустили. Никто не греб, только один человек стоял на корме с веслом. Шлюпка быстро исчезла в темноте, в дожде. Мы с Хозе спустили последнюю; в ней, кроме нас, были Спирка и еще двое кочегаров. Мы отвалили по всем правилам. Спирка что-то городил, быстро, как молитву. Но я крикнул ему: «Молчать!» Он затих. Я успел глянуть на «Погибель»: до борта оставалось не больше трех метров.

---

[1] Румпель — рычаг, который надевается на руль для поворота.

Нас несло штормовым ветром к берегу, это мы знали. Я правил сзади веслом. Уговорились: при первом толчке о песок — всем в воду и подтащить, сколько можно, шлюпку вручную.

Мы уже слыхали, как рассыпался прибой в прибрежном песке. Зыбь становилась мельче и круче. Вдруг я достал веслом дно.

— Готовсь!— заорал я.

Шлюпку ударило носом в песок, подбросило валом корму и вмиг повернуло. Мы едва успели выскочить, как следующий вал ударил ее в борт и опрокинул. Воды было по грудь.

— Бежим!— крикнул я и дернул за шиворот Хозе.

Я помнил, что он не умел плавать. Нас поддало волной, повалило. Но мы уже стояли на четвереньках, и здесь было на локоть воды. Испанец хохотал и что-то кричал. Куда разбросало остальных, я не видел. Через три минуты мы были уже на суше, то есть на мокром песке. Но это был берег. Я стал гукать, свистеть. «Го! го! го!»— кричал Хозе. Нам было холодно в мокрой одежде на ветру. Дождя уже не было, но ветер остервенело рвал и облеплял нас мокрым, холодным платьем. Никто не подходил, не отзывался на наш крик.

— Черт с ними!— сказал я.— Утром увидим.

Мы отошли от воды. Зуб не попадал на зуб. Вдруг мы стали на колени рядом и, не сговариваясь, оба стали рыть песок. Мы накидали руками вал и легли за ним, прижавшись спинами друг к другу. Вал прикрывал нас от ветра.

Мы проснулись, когда совсем рассвело. Еле развели скрюченные ноги и оба сейчас же поглядели на море. Желтый прибой все так же буравил берег, низкие тучи гнало от самого горизонта. Из воды, саженях в ста от берега, торчали черные мачты «Погибели». Они, как две пики, направлены были на берег. Из валов временами показывалось жерло трубы, как открытый рот. Я глянул вдоль берега — неподалеку из воды торчало белое дно нашей шлюпки:

прибой занес ее песком, как метель снегом. Разбросанные ящики — наш груз — волны таскали взад и вперед, кувыркали и били о песок. Испанец тыкал пальцем куда-то вдаль и гоготал. Я присмотрелся: шалаш из брезента. Дым из него гнало ветром низко по земле. Испанец дергал меня, чтоб идти. Но он глядел уже налево, и было на что: шагах в ста от нас у воды на корточках сидел человек. Он чем-то ковырял в воде.

— Апельсины! Ловит апельсины. Бежим!

Испанец закоченелыми ногами заковылял что было силы по песку. Но скоро мы узнали капитана в этом человеке. У него что-то серое в руках. Теперь видно: это книга. Ну ясно, это машинный журнал в парусиновом переплете, в масляных пятнах. Я дернул испанца, чтобы говорил тише. Но за ревом прибоя капитан все равно нас не услышит. Я подошел совсем близко и присел на корточки. Капитан что-то подмывал морской водой на странице журнала. Наконец он крякнул, закрыл страницу и до половины окунул журнал в подоспевшую зыбину.

— Теперь ол-райт!— сказал капитан. Он повернулся и увидел меня.

Хозе в десяти шагах стаскивал с себя мокрые ботинки. Капитан с минуту глядел на меня, выкатив глаза.

— Это откуда? Наши?

Он не знал в лицо своей команды.

А я молчал, ухмыляясь, и глядел на него снизу.

— Да кто ты есть?— крикнул капитан и шагнул ко мне.

Я молчал. Он сделал еще два шага. Но тут босиком подбежал Хозе.

Капитан глядел на него. Я помотал головой. Хозе понял и тоже молчал.

— Что вы за люди? Говорите, бестии! Говорите же!

Мы молчали. Хозе улыбнулся во весь рот. Игра ему понравилась.

— Тьфу!— плюнул капитан.

Он с журналом под мышкой зашагал прочь. Но вдруг круто поворотил назад.

— Что ты видел? — крикнул он мне.— А ты? А ты?

Капитан двигался на Хозе.

Хозе стал боком, скосив глаза на капитана. Тот насутулился и глядел остекленелым взглядом: неподвижным, пристальным. Он приоткрыл рот и сдвигал все ближе брови, весь подавшись вперед. Я глядел, что будет. Вдруг что-то мелькнуло, и капитан опрокинулся навзничь. Чем и когда попал ему Хозе в переносицу? Я и сейчас сказать не могу. «Вот она, молния»,— вспомнил я. Капитан не сразу очнулся. Наконец он сел на песок. Мы оба сидели против него.

— Слушайте,— сказал он хрипло.— Не будем много говорить. Вы, наверно, двое из команды... кого недосчитались. Значит, никто не погиб. Все в порядке.— Он говорил просительно, как больной.— Вы, значит, и есть испанец.— Он указал на Хозе. А вы — рулевой. Ведь верно? Я вами очень доволен. Теперь никакой заботы, всего только — молчать. Вы, я вижу, на это мастера. Вот ему,— он указал на Хозе,— я даю триста рублей.— Капитан выставил три пальца.

Хозе их поймал в кулак и завернул дудочкой: капитан вскрикнул.

— Мало? Поезжайте в Испанию — на триста рублей можно год пьянствовать. Там вино дешевое. И вам триста. И вы уезжайте себе подальше. Понимаете? Чего вы молчите? Не поедете?

И глаза его снова остекленели.

Он встал и пошел к палатке, оглянулся и крикнул коротко, кажется, «ладно»,— отнесло ветром.

Хозе хохотал. Он прыгал. Должно быть, чтобы согреться.

Мы выловили дюжины две апельсинов — их вынесло прибоем — и съели. Признаться, я трусил теперь идти к палатке. Нас очень просто могли сделать утопленниками,

погибшими при кораблекрушении. Я не говорил об этом Хозе, а то непременно полезет в драку.

Должно быть, было уже около полудня, когда слева показались подвода и трое верховых.

Это были пограничники.

Среди солдат на подводе сидел Спирка.

— Хлеб тоже везем! — кричал он нам с подводы.— Борщ немножко, и сейчас едем все на маяк.

Мы пошли за подводой. У Хозе за пазухой были апельсины. Солдаты сейчас же отрезали нам хлеба. По берегу против «Погибели» поставили часовых: «Имущество потерпевших в море под непосредственным ее величества государыни императрицы покровительством».

В палатке дворники кипятили чай на досках от ящиков. Солдаты провожали нас до маяка. Офицер слез с коня и шел рядом с капитаном. У капитана на лбу был багровый кровоподтек. Офицер глядел и расспрашивал его про катастрофу. Дворники на расспросы солдат только хмыкали и жевали хлеб. Поздно ночью мы добрались до Тендровского маяка, и о катастрофе полетела на берег телеграмма. Наутро, если позволит погода, за нами придет катер.

У смотрителя на квартире офицер записывал показания капитана. В окно мне видно было, как они переворачивали слипшиеся листы судового журнала.

Тут меня застал Спирка. Он тоже не ложился спать. Он взял меня под руку и повел в сторону.

— Ну, слушай: ну какую же пользу ты имеешь? Ты что же хочешь? Пятьсот? Я! Я! — бил себя в грудь Спирка.— Я, вот побей меня бог, не получаю пятисот. А ты тысячу хочешь? Ну, а что? Такой пароход — это хорошо, что погиб, ему так и надо. А? Нет, скажешь? Человек один пропал? Не пропал! Груз? Какой же был груз? Сам знаешь. Значит, хорошее все это дело. И зачем ты хочешь, один ты, миллионы? Мириадес! А страховка — страховку хозяин получает, а не капитан. Капитан не хозяин. Люди получают сто рублей и говорят «спасибо».

И Спирка остановился и снял шапку.

— А ведь вы двое всем делать хотите зло! Люди же тоже могут обижаться. Знаешь, если люди обижаются...

Он тараторил без умолку, и я понял, что надо быть начеку. Я не знал, куда делся Хозе.

— Ладно, мы подумаем,— сказал я и вырвался от него.

— Чего думать?— крикнул мне вдогонку грек.— Это можно сейчас. А то может нехорошо выйти.

Я пошел искать Хозе. Дворники уже спали в сарае на полу. Среди них Хозе не было. Я вышел на двор и вдруг ясно услышал голос испанца:

— О! Я не можно ничего...

Я поспешил на голос. Кто-то прошел мимо меня. Я оглянулся и в свете окна узнал фигуру капитана. Хозе стоял посреди двора и потягивался.

— Он мне говорил: «Возьми триста, а то тебе плохо будет». А я сказал...

Я слышал, что он сказал: на весь двор сказал.

Мы спали вдвоем на кухне смотрителя. Я лег под самой дверью на полу, припер дверь собой.

К полудню шторм стал стихать. За нами приполз катерок только к вечеру. На длинном буксире притащил шлюпку с харчами для маячных. Нас по пяти человек подвозили на шлюпке. Катер снялся. На море не улеглось еще волнение, и катерок здорово качало на зыби. Порожняя шлюпка волоклась сзади и мешала ходу. Я хватился Хозе. Мне помнилось, он сел на лавку в каюте. Я всех спрашивал. Дворники проклятые опять все жевали что-то и только мычали. Их скоро укачало. Капитан стоял рядом со шкипером и не хотел со мной говорить. Когда высаживались, я протиснулся к сходне, перебрал всех. Не было только Хозе. Я тогда же ночью пошел в портовую полицию и заявил.

Там сказали:

— Ну, значит, остался на маяке. Капитан список подал на всех людей, ничего не заявлял. Приходи утром.

Тогда я стал ругаться, требовать, чтобы сейчас же за-

писали мои показания, но в это время вошел портовый надзиратель.

— Это еще кто? А ну, документ? Нету? С парохода, говоришь, с погибшего? А ну, дайте-ка мне ихний список! Как, говоришь, твоя фамилия? Такого, братец, нет. Вон ты что за гусь! Гляди-ка, чего выдумал! Ай же и мастер! С погибшего? Отвести! — крикнул он стражникам.

Мне вывернули карманы, сняли поясок и пропихнули в «холодную». На полу храпел какой-то пьяный.

Это капитану обошлось, конечно, дешевле трехсот рублей. Я сел в угол на цементный пол и, признаться, заплакал с досады.

Надо было мне взять и за испанца и за себя по триста рублей, тишком-ладком, а потом на судне грохнуть все.

Наутро я растолкал пьяного. Оказался — ломовой извозчик. Я ему толковал, чтобы всем говорил: «Одного человека, мол, утопили, а другого в полицию взяли». Всю ему историю раза четыре пересказал. А он с похмелья только глазами хлопал, как сова.

Его вытолкали на улицу, а меня повели в тюрьму. Я был уверен, что испанца кинули в море, пока мы на катере добирались. Плавать он не умеет, его за три сажени от берега утопить можно.

В тюрьме я ребятам рассказал, в чем дело. Мало кто верил, только стали меня звать «погибшим». А потом меня вызвал жандарм и спрашивал, не я ли слесарь Храмцов Иван с брянского завода, которого полиция ищет, — он прокламации разбрасывал и «бунтовал рабочих». Я говорил, что нет. А он говорит: «Погоди, дорогой, доберемся!»

Я уже второй месяц годил. Народу в камере сколько переменилось! Вдруг как-то привели новенького. У него сменка белья в газету завернута. Я попросил газетку. К окну, к решеткам. Вдруг вижу, картинка, и нарисован пароход: лежит на боку, торчат труба и мачты из воды.

Потом читаю:

«ТРАГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА»

Пароход «Петр Карпов», следуя по пути в Ялту, был застигнут свирепым юго-западным штормом и прижат к Тендровской косе. Машина не выгребала против урагана. От усиленной работы загорелся подшипник коренного вала. Были отданы оба якоря. Но силой шторма пароход все гнало на берег, и якоря стали сдавать. Распорядительность и хладнокровие капитана, старого, опытного моряка, находчивость и удачные маневры среди разбушевавшейся стихии — все это не дало возникнуть обычной в этих случаях панике. Команда благополучно достигла на шлюпках берега.

Авария произошла по стихийной причине. Судовой журнал — этот главный документ корабля, беспристрастный свидетель его героической борьбы со стихией,— час за часом говорит нам, как боролось судно за свою жизнь и честь. Машинный журнал говорит об этом размывами чернил по страницам, просоленным морской водой. Многие записи нельзя разобрать. Но они подписаны самим морем.

Пароход шел первым рейсом после капитального ремонта, с грузом апельсинов. Прибывшая на место гибели комиссия нашла пароход занесенным песком. Напором воздуха изнутри, при погружении парохода в воду, вырвало грузовые люки, и груз частью оказался выброшенным на берег в виде обломков ящиков и разбросанных апельсинов, частью же погребен песком. Груз был застрахован в сумме 350 тысяч рублей».

Внизу был помещен портрет нашего капитана. Выражение на портрете было благородное и скорбное. Я даже не узнал его сначала.

Вот те и на!! Не боятся даже в газетах печатать: «Из капитального ремонта», когда весь порт называл пароход «Погибелью». Но коли хозяин получает 350 тысяч, то можно тысчонок пять бросить на подмазку. Комиссии за фальшивый осмотр он дал, агенту страхового общества дал, газетчикам дал...

Черт возьми! Не дал ли он еще кому надо, чтобы меня гноили по тюрьмам, пока я не сознаюсь, что я не матрос Николай Чумаченко, а слесарь с Брянского завода Иван Храмцов?

А не объявить ли, что я и есть Храмцов? Будет суд, на суде все рассказать. На суде уж не затрешь. Я посоветовался с одним рабочим, что сидел в нашей камере, и он сказал:

— Чудак ты! Ты думаешь, они глупей тебя? Никакого тебе суда не дадут, а просто административным порядком сошлют тебя, знаешь, где в бане льдом моются, снегом пару поддают. Там у тебя глаза от холоду лопнут. Суда еще захотел! Гляди ты какой!

Я задавил в себе досаду. Но было — хоть об стенку головой!

Тут случился в тюрьме тиф: попал я в больницу. Говорили, я бредил этой «Погибелью». А потом слышно стало: кругом забастовки, тюрьму набили народом доверху. Стало уж не до меня. Из больницы меня, полуживого, вытолкали за ворота. Одна была бумажка, что из-под следствия освобожден.

Нищим оборванцем добрался я до своего порта. Здесь товарищи мне помогли. Сказали, что суд был, капитана оправдали. Дело у них сошло с рук. Испанца никто не знал, и такого не видели.

— А капитан?

— А он плавает на портовом буксире «Силач».

У меня, видно, рожу перекосило, потому что все стали говорить:

— Брось, мало насиделся?

Но я ничего не говорил.

Вечером я пошел в порт и стал ждать «Силача». Вот он подошел и стал кормой к пристани. Я узнал голос, он крикнул:

— Сходню ставь веселей!

Я прислонился к штабелю угля. В руке у меня был кусок фунтов в десять. Капитану дорога мимо меня, и народу

сейчас мало. «Сейчас тебе, дракону, конец»,— говорил я про себя. Вот он идет мимо фонаря, вот зашел в тень, и я в тени. Тьфу! За ним бегут двое.

— Господин капитан, Леонтий Андреич! Разрешите полтинничек. Ей-богу, мы ж за вас! В счет получки, вот истинный Христос!— И уж совсем почти рядом со мной:— Мы ж зато молчим.

Знакомые голоса. Фу ты! Да это Афанасий с Яшкой. Они шли за ним и клянчили. Я пошел следом. Тут уж вышли на людное место, я бросил свой уголь. Капитан полез в карман, и я слышал, как он сказал:

— Последний раз, а то я вас уберу. Знаете?

Афанасий с Яшкой дошли до пивной и ввалились туда. Они сидели за столиком, когда я вошел. Они меня не узнали — так переменили меня тюрьма и болезнь. Я спросил кружку пива за гривенник и сел рядом. Из их разговора я понял, что их взял служить капитан на «Силач», чтобы они помалкивали, и что теперь как бы в самом деле не был это последний полтинник, что они выудили у капитана. Потом они подвыпили, и Афанасий пьяным голосом кричал:

— Ей-богу, он хороший человек! Вот мы с тобой выпили, честное слово: сам живет и другим жить дает. А это он так. Пугает только. Надо же попугать. А он, ей-богу...

И вдруг он уставился на меня. Обернулся и Яшка и тоже выпучил глаза. Он еле сказал:

— Ты... живой?

Я скорее встал, кинул официанту гривенник и вышел. Может, они еще не поверили своим пьяным глазам. Нет, нет, все равно дурака я свалял! Они скажут капитану и уж за десятку, а не за полтинник продадут ему меня.

Я ночевал теперь по ночлежкам, работал на сноске. Я решил переждать с неделю и снова пойти стать под углем.

И вот раз в ночлежке, когда все в полутьме уже засыпали и только в углу шел гулкий разговор, вдруг слышу:

— Мне не можно...

Я так и подскочил: не может быть! Я крикнул на всю ночлежку:

— Машка!

Действительно, это был испанец. Он подбежал ко мне. Я не мог ничего говорить. Я его ощупывал и ругал. Ласкательно ругал, но последними словами. Я не мог его разглядеть, было полутемно. Старики уже бранились, что мы шумим.

Хозе начал вполголоса:

— Они спихнули меня с катера. Я не видел, кто, сзади. Но я бил руками и ногами. Я не боялся. Браво! Сзади это шлюпка на буксире! О! Я поймал шлюпку. Они не видели, что я влез туда. Я там лег. Они шлюпку оставили на якоре до утра, далеко от берега. Я видел ночной пароход. Они на нем уехали. Утром я попал на берег. Искал тебя до ночи. Значит, и ты уехал с ними. Так я думал. Я не видал капитана, как он уехал. Я б ему голову разбил, как горшок камнем.

Хозе уже говорил громко, но всем было забавно, как он говорил; многие поднялись и подошли.

— У меня не было денег, не было документов, я в этом городе никого не знаю. Я пошел носить мешки на погрузку. Потом меня взяли на пароход угольщиком. Я думал, ты ехал с ними. Я здесь третий день. Я без места. Нет паспорта. Консул говорит: «Ты эмигрант, пошел вон!» Я его хотел бить, такая каналья!

Я не хотел говорить сейчас Хозе, что капитан здесь. Он бы начал ругаться, грозить, а тут кругом народ и непременно есть «лягаши», как во всякой ночлежке. Завтра мы сидели бы за решеткой.

Я рассказал о себе. И мы заснули на одной койке.

Наутро я сказал Хозе, что капитан здесь, на буксире «Силач».

В ту же ночь мы стояли у штабеля угля. Мы слыхали, как стал «Силач» на свое место. Было пусто. Где-то на набережной шаркали пантуфлями грузчики-турки, возвращаясь с работы. Я выглядывал из-за штабеля. Сердце мое

колотилось. Вот он, капитан. Он в белом кителе. Да, и двое по бокам. У одного в руке дубинка. Ого! С конвоем. Ну да: Яшка и Афанасий по бокам. Я шепнул Хозе.

— Их трое.

— Мне не можно...— И он прижал меня ближе к углю.— Идут!

И вдруг Хозе сказал что-то по-испански, вышел на середину и стал перед капитаном.

Они все трое остановились как вкопанные.

— Тебе... тебе чего?— сказал Яшка и завел назад дубинку.

Я подбежал с куском антрацита. Яшка попятился.

— А я живой! А! Капитан!— Испанец ударил себя кулаком в грудь.— Я, Хозе-Мария Дамец.

Яшка замахнулся дубинкой. Я бросил изо всей силы в него углем, но уголь пролетел мимо — Яшка уже лежал. Я видел, как капитан сунул руку в карман. Револьвер! Застрелит! Но «молния» — и капитан сел, расставив руки. Револьвер звякнул о мостовую. Афанасий бежал назад и выл на бегу длинной коровьей нотой. Я успел наступить ногой на револьвер.

Капитан вскочил — он хотел повернуться. Но Хозе поймал его за грудь.

Да... А потом мы бросили его, как тушу, на штабель. Яшка лежал молча. Мы пошли. Я слышал, что сзади топают несколько ног. Мы вошли в людное место и смешались с народом.

— Идем вон отсюда, из этого города, сейчас же!— говорил я испанцу.

— Ого! Мне не можно ничего...

— Тебе не можно, а мне нужно, и я боюсь один. Ты что же, меня не проводишь?

К утру мы были уже за тридцать пять верст, на берегу, у рыбаков. Там всегда всякого народу много толчется.

А что скажете: в полицию идти жаловаться? Или в суд подавать, может быть?

ВАТА

Это наконец нас стало заедать. Приходишь, бывало, в порт. Вот он, таможенный досмотр, ходит и поглядывает, во все уголки нос засовывает.

— Что у вас тут? А под койкой что? А в вентиляторе что?

И ничего не находит.

А тут, смотрите, один нашелся такой скорпион, то есть досмотрщик, что ничего ему не надо искать, прямо:

— Вот эту доску мне оторвите!

— Как так рвать? А назад кто ее пришивать будет?

— А если ничего там нет, то все в прежний вид приведу я. А как обнаружено будет к провозу недозволенное, то сами должны понимать...— И пальчиком стукает:— Вот в этом самом месте.

Чиновник, что с ним ходит, брови поднимает, ему в глаза засматривает: так ли, мол? Как бы сраму не было!

А этот скорпион долбит пальчиком:

— Небеспременно здесь.

Рвут доску — и как чудо: в том самом месте штука шелка.

Потом идет тихонечко в кочегарку, сразу в угольную яму:

— Вот тут копайте.

А в этих угольных ямах угля наворочено гора, и раскидывать его некуда, да и темнота, только лампочка электрическая коптит. А он, как конь, ногой топчет этот уголь:

— Здесь копайте.

Роют.

— Ну,— говорят,— ничего там не сыщешь, тебя туда самого закопаем живого.

В этот уголь чиновник поневоле лезет. Назло ребята пыль поднимают, уголь швыряют лопатами, как от собак отбиваются. Гром стоит — ведь железо кругом. Коробка это железная — угольная-то яма. Называется только так. Чиновник чихает, платочком рот прикрывает. А скорпион все ниже лезет и лампочку на шнурке тянет.

— Зачем левей берешь? Нет, ты вот здесь, здесь копай. Ага! Это что?

И лапами, что когтями,— цап! Пакет. Наверх, на палубу. Тут распутывать, разворачивать — бумажки. Какие такие бумажки? Хлоп — и жандарм тут.

— Эге-с!— говорит жандарм.— Понятно-с. Механика сюда! Капитана!

Акт писать: найдены зарытыми бумажки, а бумажки насчет того, чтобы царя долой, фабрикантам по затылку, и вообще неприятные бумажки. А пришли из-за границы.

Потом слух проходит, что дознались: бумажки за границей печатались, даже журнальчик среди бумажек нашли. Даже кипку изрядную. Журнальчик-то на тоненькой бумажке отпечатан.

Тут всю машинную команду перетрясли. Водили, допрашивали. Двоих так назад и не привели.

А скорпион этот уже гоголем ходит. То есть как это сказать? Он до сих пор змеей смотрел, а уж теперь прямо аспидом. Идешь мимо, а он дежурным на переезде стоит и провожает тебя глазами, как из двустволки целит. И, видать, трусит, как бы кто его не угораздил булыжником. Оружие им не полагалось по форме, но этому, слышно было, выдали револьвер, чтобы держал в кармане на случай чего. И все это знали.

Чиновник при всех ему говорил:

— С тобой бы, Петренко, клады в лесах искать. С тобой и рентгена никакого не надо. Как это ты? А?

— Это, ваше высокородие, нюх и практика.

Однако взяли двух. Но мы-то с Сенькой остались на пароходе. На берегу мы с ним имели совет меж собой. Ясно, что глаза скорпионовы с нами плавают, кто-то смотрит, слушает и заваливает публику. И мудреного тут нет ничего. У кочегаров и матросов на носу общие помещения — кубрики: кочегарский и матросский. По борту — койки в два этажа и по переборке такие же. Посреди стол. В углу икона, а над койками карточки, картинки разные. Все вместе едят, вместе спят. Тут чуть что пошептал, сейчас всем видать и все слыхать. Потрепались ребята или без оглядки языком били, только это уже факт, что есть засыпайлы какие-нибудь меж своих же. А вот кто? Стали план разбивать: кто бы это был и как его узнать? А на пароходе стало совсем паршиво: все друг на друга волком. Всякий думает: «Это ты засыпал». Да и верно. У одного два несчастных фунта цейлонского чая, и то нащупал этот скорпион. Его ребята угощать пробовали. Откупорят заграничную бутылку, ему стакан. Выпьет, губы оботрет: «Доброе вино! А в сундучке у вас как?»

Но нам с Сенькой было задание — держать связь с заграницей, доставлять журналы. А тут на! Провалили, и двое людей засыпалось. Это с какими глазами мы туда выставимся! Хоть списывайся на берег да на другой пароход. И тут наши товарищи, здешние, стали срамить. Нас с Сенькой такая досада взяла, что тех двух арестованных, кочегаров этих, даже и не жалели. Ругали прямо.

А в комитете нам сказали:

— Товарищи дорогие, мы уж и не знаем, как вам и доверять. То есть ребята вы, может, и верные, но нам сейчас швыряться сотнями номеров нельзя: время горячее. Это не шутки. Не коньяк в пазухе проносить. Мы другой путь будем искать.

И все на нас глядят, и каждый думает, что мы с Сенькой шляпы и свистунки.

— Вы,— говорят,— товарищи, обдумайте.

Тогда я говорю:

— Этот рейс мы не беремся: действительно, надо все

проверить. И мы скажем, а когда скажем, то уж... одним словом, скажем.

Чего тут было говорить? Пошли мы как оплеванные. Но про доносчика этого решили, что выловим, и тогда уж его, гада, за борт. Мало ли что, упал человек за борт. Ночью. Бывает же такое.

Всех мы перебрали с Сенькой. Всех обсудили. Да нет, все будто одинаковые. На всякого можно подумать. И вот что выдумали. Выдумали мы уже в море, когда снялись, а совсем уговорились в персидском порту, в Бассоре.

Принимали мы там хлопок. Это как бы побольше кубического метра тюк. Он зашит в джут и затянут двумя железными полосами, как ремнями. Вата, а в таком тюке четырнадцать пудов ее. Это ее прессом так прессуют, что она там, в этом пакете, как камень. Даже не мягкая ничуть.

И вот наш план.

Будем говорить в кубрике за столом вдвоем по секрету. И смотреть, чтобы только один человек мог нас слушать. И начисто никто больше. И говорить будем, как вроде секрет меж собой. Так, к примеру: «Так ты не забыл, значит, как это место?» — «Нет, на каждой стороне красная точка с пятак».— «А сколько там номеров?» — «А две сотни газет положено, так сказывали».

А при другом говорить, что не точка, а кресты по углам черные. И для каждого разные марки. И, чтобы не спутать, Сенька все себе запишет где-нибудь.

Нас на погрузке ставили трюмными; это значит стоять в трюме и глядеть, чтобы грузчики правильно раскладывали груз. Грузчики — персы; значит, что я ни делаю, рассказать они не могут. А потом я над ними вроде распорядитель всех делов. Сенька у себя во втором — тоже. Каждый взял по ведерку с краской и кисточкой. Это мы наперед приготовили. И жара там, в Бассоре, немыслимая. Краска стынет, как плевок на морозе. Вот я делаю вроде тревогу, персы на меня смотрят. Я сейчас с ведерком и мечу красным тюк. Они думают, что это надо по правилу.

Я приказываю: осторожно, не размажь и кати его туда. Они слушают. Уж к обеду мы все марки наши поставили — двадцать семь марок, по числу людей. Теперь осталось двадцать семь разговоров устроить. И чтобы виду не показать, что мы это «на пушку» только.

Первый раз чуть все не пропало. Сенька — смешливый. Я при Осипе так серьезно начинаю:

— А ты,— говорю,— помнишь, какую ты марку ставил?

И вижу — Сенька со смеху не прожует. Меня в смех вводит. Не могу на него глядеть.

— Ты выйди на палубу,— говорю,— погляди, француз нас догоняет, «Мессажери».

Он еле до порога добежал. Ну что ты с таким станешь делать? Я уж думал, пропало наше дело.

Потом ему говорю:

— Если ты мне на разговор смешки начнешь и комики разные строить, то, чтобы мне сгореть, я тебя тут же вот этой медной кружкой по лбу. Разобрал?

Опять, что ли, с Осипом наново начинать? Оставили его напоследок. Взяли Зуева. Он все папиросы набивал. Сядет с гильзами и штрикает, как машина. Загонял потом их тут же промеж своих, кто прокурится. Он себе штрикает, а мы вроде не замечаем. Начали разговор.

Сенька, со всей своей, видать, силой собрал губы в трубку и не своим голосом, как удавленник:

— Красным крестом метил.

Ходу нам до дому месяц, а за месяц мы всех двадцать семь человек разметили, на все наши двадцать семь марок, и всех записали.

Потом я Сеньку спрашиваю:

— На кого думаешь?

— На Осипа,— говорит.— Он аккурат присунулся ближе, как ты сказал, что двести номеров. А ты на кого?

А я сказал, что Кондратов. И потому Кондратов, что

он сейчас же встал и отошел. Только услышал, что кружком мечено, и сейчас же запел веселое, вроде нигде ничего, и вон вышел.

— На Осипа,— говорю,— думать нечего. Он человек семейный, ему подработать без хлопот, да вот сахару не ест, домой копит.

А уж к порту подходили, я уж совсем смешался, на кого думать. Семейный, а может быть, он самый и есть предатель, этим и подрабатывает. Другой вот — Зуев, чего он веселый, надо — не надо? Чего он ломоты эти строит? Так его и крутит, будто штопор в него завинтили. Из кочегаров двое тоже были у нас на мушке. Потом нам стало казаться, что на нас все по-волчьи глядят. Может, меж собой рассказывали про наш разговор? Уж не знали, как до порта дойдем.

Однако ничего. Опять чиновник к нам, опять этот самый скорпион, жандарм, все как полагается. Но только началась выгрузка, видим, бессменно скорпион стоит и каждый подъем глазом так и облизывает. Мы тоже поглядываем. Грузчики на берегу берутся по четыре человека, таскают эти тюки и городят из них штабель. Вдруг этот скорпион:

— Эй, эй, неси прямо в проходную таможню! Неси, неси, не рассказывай.

Хорошо, я заметил, а то сами бы мы проморгали,— с красным крестом на углу.

Я в заметку — Зуев.

Но уже по всему пароходу шум: понесли тюк хлопка в таможню. Сейчас уж чиновник пришел на пароход, приглашает немедленно нашего старшего помощника — капитан в городе был, на берегу. Еще двоих понятых из команды. Боцман говорит мне: «Ты побудешь». И еще кочегар один. Приходим. Комнатка небольшая, всего одна скамейка по стене. Два окошка. В окошки люди глядят. Посреди этот тюк. Чиновник стоит, губу облизывает. А скорпион весь на взводе. Шепчет чиновнику грозно что-то в ухо. Чиновник уж перед ним так и ахает.

— А скажите, пожалуйста! Да уж знаю, насквозь видишь, рентген!

Ждали жандарма. Вот и жандарм. Послали кочегара за кусачками. Живо принес. Наш старший помощник говорит:

— Пишите акт, что вот кипа хлопка в четырнадцать пудов, что по вашему требованию, что вы отвечаете.

Чиновник со смешком:

— Па-ажалуйста, сделайте ваше любезнейшее одолжение.

Тут же на скамейке папку расстелил и пишет.

— Откупоривай,— говорит помощник кочегару.

— Есть! — И кочегар — хлоп-хлоп! — перекусил обручи.

Кипа, как живая, поддала спиной и распухла.

— Режь!

Полоснул кочегар по джуту, раскрыл: белая вата плотно лежит, будто снег, лопатой прибитый.

— Начинай,— шепотком говорит чиновник.

И начал скорпион сдирать слой за слоем эту вату. Чиновник тут же крутится. В окна столько народу нажало, что в комнате темно стало. Жандарм два раза ходил отпугивать. А ваты все больше да больше. Копнет ее скорпион — ломоток один, а начнет трепать — глядишь, облако выросло. Чиновник уж весь в пуху, пятится. Дорогие мои! Скорпион еще и четверти кипы этой не отодрал — полкомнаты ваты, и уж окно загородило. Он уж в ней по пояс стоит, как в пене, и уж со злости огрызается, рвет ее клочьями, ямку посередине копает.

Кочегар говорит:

— Пилу, может, принести?

Чиновник как гаркнет:

— Вон отсюда, мерзавец!

А наш старший:

— Это как же? Занесите в акт: оскорбили понятого.

Мы уже к двери пятимся, вата на нас наступает. Чиновник видит — костюм уж не уберечь, там же роется.

Их уже там не видно стало, как во сне потонули вовсе. А старший наш кричит:

— Ничего не видать, может обман, может еще сами подложите чего?

Уж и взбеленился чиновник, выбегает оттуда: домовой не домовой — чучело белое, вата на нем шерстью. Эх, тут как заорут ребята:

— Дед-мороз!

Он — назад. Они там с досмотрщиком вату топчут, примять хотят, да где! Она пухнет, всю комнату завалила, а полкипы еще нет.

Выскочил таможенный чиновник.

— Мерзавец! — кричит. — Запереть его там!

И побежал домой. Мальчишек за ним табун целый. Я на пароход. К Сеньке: «Где Зуев?» — «Сейчас был». Мы туда-сюда, нет Зуева. Так больше и не видал его никто. Сундучок его сдали в контору. И за сундучком никто не пришел.

ДЖАРЫЛГАЧ

Новые штаны

Это хуже всего — новые штаны. Не ходишь, а штаны носишь: все время смотри, чтоб не капнуло или еще там что-нибудь. Из дому выходишь — мать выбежит и кричит вслед на всю лестницу: «Порвешь — лучше домой не возвращайся!» Стыдно прямо. Да не надо мне этих штанов ваших! Из-за них вот все и вышло.

Старая фуражка

Фуражка была прошлогодняя. Немного мала, правда. Я пошел в порт, последний уж раз: завтра ученье начиналось. Все время аккуратно, между подвод прямо змеей, чтоб не запачкаться, не садился нигде,— все это из-за штанов проклятых. Пришел, где парусники стоят, дубки. Хорошо: солнце, смолой пахнет, водой, ветер с берега веселый такой. Я смотрел, как на судне двое возились, спешили, и держался за фуражку. Потом как-то зазевался, и с меня фуражку сдуло в море.

На дубке

Тут один старик сидел на пристани и ловил скумбрию. Я стал кричать: «Фуражка, фуражка!» Он увидал, подцепил удилищем, стал подымать, а она вот-вот свалится, он

и стряхнул ее на дубок. За фуражкой можно ведь пойти на дубок?

Я и рад был пойти на судно. Никогда не ходил, боялся, что заругают.

С берега на корму узенькая сходня, и страшновато идти, а я так, поскорей. Я стал нарочно фуражку искать, чтоб походить по дубку: очень приятно на судне. Пришлось все-таки найти, и я стал фуражку выжимать, а она чуть намокла. А эти, что работали, и внимания не обратили. И без фуражки можно было войти. Я стал смотреть, как бородатый мазал дегтем на носу машину, которой якорь подымают.

С этого и началось

Вдруг бородатый перешел с кисточкой на другую сторону мазать. Увидал меня да как крикнет: «Подай ведерко! Что, у меня десять рук, что ли? Стоит, тетеря!» Я увидал ведерко со смолой и поставил около него. А он опять: «Что, у тебя руки отсохнут — подержать минуту не можешь!» Я стал держать. И очень рад был, что не выгнали. А он очень спешил и мазал наотмашь, как зря, так что кругом деготь брызгал, черный такой, густой. Что же мне, бросать, что ли, ведерко было? Смотрю, он мне на брюки капнул раз, а потом капнул сразу много. Все пропало: брюки серые были.

Что же теперь делать?

Я стал думать: может быть, как-нибудь отчистить можно? А в это время как раз бородатый крикнул: «А ну, Гришка, сюда, живо!» Матрос подбежал помогать, а меня оттолкнул; я так и сел на палубу, карманом за что-то зацепился и порвал. И из ведерка тоже попало. Теперь совсем конец. Посмотрел: старик спокойно рыбу ловит,— стоял бы я там, ничего б и не было.

Уж все равно

А они на судне очень торопились, работали, ругались и на меня не глядели. Я и думать боялся, как теперь домой идти, и стал им помогать изо всех сил: «Буду их держаться» — и уж ничего не жалел. Скоро весь перемазался.

Пришел третий

Этот, с бородой, был хозяин; Опанас его зовут. Я все Опанасу помогал: то держал, то приносил, и все делал со всех ног, кубарем. Скоро пришел третий, совсем молодой, с мешком, принес харчи. Стали паруса готовить, а у меня сердце екнуло: выбросят на берег, и мне теперь некуда идти. И я стал как сумасшедший.

Стали сниматься

А они уже все приготовили, и я жду, сейчас скажут: «А ну, ступай!» И боюсь глядеть на них. Вдруг Опанас говорит: «Ну, мы снимаемся, иди на берег». У меня ноги сразу заслабли. Что ж теперь будет? Пропал я. Сам не знаю, как это снял фуражку, подбежал к нему. «Дядя Опанас,— говорю,— дядя Опанас, я с вами пойду, мне некуда идти, я все буду делать». А он: «Потом отвечай за тебя». А я скорей стал говорить: «Ни отца у меня, ни матери, куда мне идти?» Божусь, что никого у меня,— все вру: папа у меня — почтальон. А Опанас стоит, какую-то снасть держит и глядит не на меня, а что Григорий делает. Сердито так.

Так и остался я

Как гаркнет: «Отдавай кормовые!» Я слыхал, как сходню убирают, а сам все лопочу: «Я все буду делать, в

воду полезу, куда хотите посылайте!» А Опанас как будто не слышит. Потом все стали якорь подымать машиной: как будто воду качают на носу этой самой машиной — брашпилем[1].

Я старался изо всех сил и ни о чем не думал, только чтоб скорей отойти, только чтоб не выкинули.

Сказали — борщ варить

Потом ставить стали паруса, я все вертелся и на берег не глядел, а когда глянул — мы уже идем, плавно, незаметно, и до берега далеко — не доплыть, особенно если в одежде.

У меня мутно внутри стало, даже затошнило, как вспомнил, что я сделал. А Григорий подходит и так по-хорошему говорит: «А ты теперь поди в камбуз, борщ вари; там и дрова». И дал мне спички.

Какой такой камбуз?

Мне стыдно было спросить, что это — камбуз. Я вижу: у борта стоит будочка, а из нее труба вроде самоварной. Я вошел, там плитка маленькая. Нашел дрова и стал разводить огонь. Раздуваю, а сам думаю: что же я делаю? А уж знаю, что все кончено. И стало страшно.

Ничего уж не поделаешь...

Ничего, думаю, надо пока что борщ варить. Григорий заходил от плиты закуривать и говорил, когда что не так. И все приговаривает: «Да ты не бойся, чего ты трусишь? Борщ хороший выйдет». А я совсем не от борща. Стало ка-

[1] Брашпиль — специальная лебедка для подъема якоря.

чать. Я выглянул из камбуза — уж одно море кругом. Дубок наш прилег на один борт и так и пишет вперед. Я увидал, что теперь ничего не поделаешь. Мне стало совсем все равно, и вдруг я успокоился.

Поужинали — и спать!

Ужинали в каюте, в носу, в кубрике. Мне хорошо было, совсем как матрос: сверху не потолок, а палуба, и балки толстые — бимсы, от лампочки закопчены. И сижу с матросами.

А как вспомню про дом, и мамка и отец такими маленькими кажутся. Все равно: и я теперь ничего не могу сделать, и мне ничего не могут.

Григорий говорит: «Ты, хлопчик, наморился, спать лягай»,— и показал койку.

Как в ящике

В кубрике тесно; койка — как ящик, только что без крышки. Я лег в тряпье какое-то. А как прилег, слышу: у самого борта вода плещет чуть не в самое ухо. Кажется, сейчас зальет.

Все боялся сначала — вот-вот брызнет, особенно когда с шумом, с раскатом даст в борт. А потом привык, даже уютней стало: ты там плещи не плещи, а мне тепло и сухо. Не заметил, как заснул.

Вот когда началось-то!

Проснулся — темно, как в бочке. Сразу не понял, где это я. Наверху по палубе топочут каблучищами, орут, а зыбью так и бьет; слышу, как уже поверху вода ходит. А внутри все судно трещит, кряхтит на все голоса. А вдруг

тонем? И показалось, что изо всех щелей сейчас вода хлынет, сейчас, сию минуту. Я вскочил, не знаю, куда бежать, обо все стукаюсь, в потемках нащупал лесенку и выскочил наверх.

Пять саженей

Совсем ночь, моря не видно, а только из-под самого борта зыбь бросается, как оскаленная, на палубу, а палуба из-под ног уходит, и погода ревет, воет со злостью, будто зуб у ней болит. Я схватился за брашпиль, чтоб устоять, а тут всего окатило. Слышу, Григорий кричит: «Пять саженей, давай поворот! Клади руля! На косу идем!» Дубок толчет, подбивает, шлепает со всех сторон, как оплеухами, а он не знает, как и повернуться,— и мне кажется, что мы на месте стоим и еще немного, и нас забьет эта зыбь.

Поворот

Пусть куда-нибудь поворот, все равно, только здесь нельзя. И я стал орать: «Поворот, поворот! Пожалуйста, дяденьки, миленькие, поворот!» Моего голоса за погодой и не слыхать. А Опанас охрип, орет с кормы: «Куда, к чертям, поворот, еще этим ветром пройдем!» Еле через ветер его слышно. Григорий побежал к нему. А я стою, держусь, весь мокрый, ничего уже не понимаю и только шепчу: «Поворот, поворот, ой, поворот!»

Сели

Думаю: «Григорий, Гришенька, скажи ему, чтоб поворот!» И так я Григория сразу залюбил. Как он борщ-то мне помогал! Слышу обрывками, как они на корме у руля ругаются. Я хотел тоже побежать, просить, чтоб поворот. Не

дошел — так зыбью ударило, что хватился за какой-то канат, вцепился и боюсь двинуться. Не знаю уже, где паруса, а где море и где дубок кончается. Слышу, Григорий кричит, ревет прямо: «Не видишь, толчея какая, на мель идет!» И вдруг как тряханет все судно, что-то затрещало,— я с ног слетел. На корме закричали, Григорий затопал по палубе. Тут еще раз ударило о дно, и дубок наклонился. Я подумал: теперь пропали.

Стало светать

Григорий кричит: «Было б до свету в море продержаться! Вперлись в Джарылгач в самый. Еще растолчет нас тут до утра!» А тут опять дубок наш приподняло, стукнуло о дно; он так весь и затрепетал, как птица. А зыбь все ходит и через палубу. Я все ждал, когда тонуть начнем. А тут Григорий на меня споткнулся, поднял на ноги и говорит: «Иди в кубрик; не бойся: мы под самым берегом». Я сразу перестал бояться. И тут заметил, что стало светать.

Второй Джарылгацкий знак

Я залез в кубрик. Прощупал — сухо. Судно не качало, а оно только вздрагивало, когда даст сильно зыбью в борт. Я вспомнил про дом: бог с ними, с брюками, головы бы не сняли, а теперь вот что. А наверху, слышу, кричат: «Я ж тебе говорил — под второй Джарылгацкий и выйдем». Я забился в койку и решил, что буду так сидеть, пусть будет что будет. Что-нибудь же будет!

Берег

А наверху погода ревет и каблуки топают. Слышу, по трапу спускаются и Григорий кричит: «Эй, хлопчик, как тебя? Воды нема в кубрике?» Я думал — ему пить, и стал

руками шарить. А он где-то впереди открыл пол и, слышу, щупает. Я опять испугался: значит, течь может быть, Григорий говорит: «Сухо». Я выглянул из койки в люк; мутный свет видно, и как будто все сразу спокойней стало: это от свету.

Я выскочил за Григорием на палубу. Море желтое и все в белой пене.

Небо наглухо серое.

А за кормой еле виден берег — тонкой полоской, и там торчит высокий столб.

Вывернуться!

Ветром обдувало, я весь мокрый, и у меня зуб на зуб не попадал. Опанас тычет Григорию: «Если бы за знак закрепить да взять конец на тягу, вывернулись бы и пошли!» А Григорий ему: «Шлюпку перекинет, вон какие зыба под берегом лопаются, плыть надо». Опанас злой стоит, и ему ветром бороду треплет, страшный такой. Посмотрел на меня зверем: «Вот оно, кричал тогда: «В воду, я хоть в воду»,— вот все через тебя. Лезь вот теперь за борт!» Мне так захотелось на берег и так страшно Опанаса стало, что я сказал: «Я и поплыву, я ничего». Он не слыхал за ветром и заорал на меня: «Ты что еще там?» У меня зубы стучат, а я все-таки крикнул: «Я на берег!»

С борта

Опанас кричит: «Плыви, плыви! Возьмешь не знай кого, через тебя все и вышло. Полезай!» Григорий говорит: «Не надо, чтоб мальчик. Я поплыву». А Опанас: «Пусть он, он!» — и прямо зверем: «Пропадем с тобой, все равно за борт выкину!» Григорий ругался с ним, а я кричу: «Поплыву, сейчас поплыву!» Григорий достал доску, привязал меня за грудь к доске. И говорит мне в ухо: «Тебя зыбью ак-

курат на Джарылгач вынесет, ты спокойно, не теряй силы». Потом набрал целый моток тонкой веревки. «Вот,— говорит,— на этой веревке пускать тебя буду. Будет плохо — назад вытяну. Ты не трусь! А доплывешь — тяни за эту веревку, мы на ней канат поддадим, закрепи за столб, да знак этот, а вывернемся, сойдем с мели, ты канат отвяжи скорей, отдай, сам хватайся за него, мы тебя на нем к себе на судно и вытянем». Мне так хотелось на берег,— казалось, совсем близко, я на воду и не глядел, только на песок, где знак этот торчал. А полез на борт. А Гришка спрашивает: «Как звать?» А я и не знаю, как сказать, и, как в училище, говорю: «Хряпов», а потом уже сказал, что Митькой. «Ну,— говорит Григорий,— valись, Хряп! Счастливо».

На доске

Я бросился с борта и поплыл. Зыбь сзади накатом, в затылок мне, и вперед так и гонит; я только на берег и смотрю. А берег низкий, один песок. Как зыбью подымет, так под сердце и подкатывает, а я все глаз с берега не свожу. Как стал подплывать, вижу: ревет прибой под берегом, рычит, копает песок, все в пене. Закрутит, думаю, и убьет прямо о песок головой. И вот все ближе, ближе...

Зыбь лопается

Вдруг чувствую, понесло-понесло меня на гребешке, высоко, как на руках, подняло, и сердце упало: сейчас зыбь лопнет, как трахнет об песок! Не буду живой! А тут веревка моя вдруг натянулась, и зыбь вперед пошла и без меня лопнула. И так пошло каждый раз — я догадался, что это Григорий с судна веревкой правит. Я уж песок под ногами стал чувствовать, хотел бежать, но сзади как заревет зыбь, нагнала, повалила, завертела, я песку наглотался, но на доске снова выплыл.

За знак

Наконец я выкарабкался. Глянул на судно: стоит и парусами на зыби колышет, как птица подстреленная. А я так рад был, что на земле, и мне все казалось, что еще качает, что земля подо мной ходит. Я отвязался от доски и стал тянуть веревку. Знак как раз тут же был: громадный столб с укосинами, и наверху что-то наворочено вроде бочки. Я взял веревку на плечи и пошел. Ноги в песке вязнут, и во рту песок, и в глаза набило, и низом метет песком. Еле веревку вытащил... Смотрю, уж кончилась тонкая веревка и канат пошел толстый. Я его запутал, как умел, за знак, под самый корень, и лег на песок — весь дух из меня вон, пока я тянул.

Вывернулись

Знак дрогнул Вижу — натянулся канат; я привстал. Судно повернулось, оттуда стали мне махать. Я встал и начал отпутывать канат,— здорово затянуло. Судно пошло, канат ушел в воду, потянулась и веревка, как живая змейка, так и убегает в море.

Берег или море?

Я видел, как Григорий с борта махал мне рукой: хватайся, вытащим на веревке,— я не знал, тут остаться или к Опанасу — и в море. Оглянулся — сзади пустой песок, а все-таки земля. Я думал, а веревка змейкой убегала и убегала. Вот доска дернулась и поползла. Сейчас уйдет! Я надумал остаться и все-таки бросился за доской в воду. Но тут зыбь ударила, я назад, а доска ушла.

Один

Я видел, как доска скакала по зыби к судну, а судно уходило в море. Вот тут я схватился, что я один, и я побежал прямо прочь от берега по песку. А вдруг тут совсем никого нет и ни до кого не дойти? Я опять оглянулся — судно было совсем далеко, только паруса не видно. Лежал бы теперь в койке и приехал бы куда-нибудь!

Стадо

А вдали я увидел будто стадо. Пошел туда — ну вот, люди, пастухи там должны быть. Боялся только, что собаки выскочат. Я перестал бежать, но шел со всех сил. Волочу ноги по песку. Когда стал подходить, вижу — это верблюды. Я совсем близко подошел — ни одной собаки нет. И людей тоже.

Верблюды

Верблюды стояли как вкопанные, как ненастоящие. Я боялся идти в середину стада и пошел вокруг. А они как каменные. Мне стало казаться, что они неживые и что этот Джарылгач, куда я попал, заколдованный, и стало страшно. Я так их стал бояться, что думал: вот-вот какой-нибудь обернется, ухмыльнется и скажет: «А я...» Ух!.. Я отошел и сел на песке. Какие-то торчки растут там вроде камыша, и несет ветер песок, и песок звенит о камыш — звонко и тоненько.

А я один. И наметает мне на ноги песку. Мои брюки не узнать стало.

И показалось мне, что меня заметает на этом Джарылгаче, и такое полезло в голову, что я вскочил — и опять к верблюдам.

Избушка

Я подошел, встал против одного верблюда. Он стоял как каменный. Я стал кричать; что попало кричал во всю глотку. Вдруг он как шагнет ко мне! Мне так страшно стало, что я повернулся — и бежать. Бежать со всех ног! Смейтесь, вам хорошо, а вот когда один... все может быть. Я не оглядывался на верблюдов, а все бежал и бежал, пока сил хватило. И показалось мне, что нет выхода из этих песков, а верблюды здесь для страху. И тут я увидел вдали избушку.

Весь страх пропал, и я пустился туда: к избе. Иду, спотыкаюсь, вязну в песке, но сразу весело стало.

Мертвое царство

В избушке ставни были закрыты, а за плетнем во дворе навес. И опять нет собаки, и тихо-тихо. Только слышно, как песок о плетень шуршит. Я тихонько постучал в ставни. Никого. Обошел избушку — никого. Да что это? Кажется мне или в самом деле? И опять в меня страх вошел. Я боялся сильно стучать,— а вдруг кто-нибудь выскочит, неизвестный какой-нибудь? Пока я стучал да ходил, я не заметил, что со всех сторон идут верблюды к избушке, не спеша, шаг за шагом, как заводные, и опять мне показалось, что ненастоящие.

В яслях

Я стал скорей перелезать через плетень во двор, ноги от страху ослабли, трясутся; перебежал двор, под навес. Смотрю — ясли, и в них сено. Настоящее сено. Я залез в ясли и закопался в сено, чтоб ничего не видеть. Так лежал и не дышал. Долго лежал, пока не заснул.

Ведро

Просыпаюсь — ночь, темно, а на дворе полосой свет. Я прямо затрясся. Вижу, дверь в избушку открыта, а из нее свет. Вдруг слышу, кто-то идет по двору и на ведро споткнулся, и бабий, настоящий бабий голос кричит: «Угораздило тебя сослепу ведро по дороге кинуть, я-то его ищу!»

Домовой

Она подняла ведро и пошла. Потом слышу, как из колодца воду достает. Как пошла мимо меня, я и пискнул: «Тетенька!» Она и ведро упустила. Бегом к двери. Потом вижу, старый выходит на порог. «Что ты,— говорит,— пустое болтаешь! Какой может быть домовой! Давно вся нечисть на свете перевелась». А баба кричит: «Запирай двери, я не хочу!» Я испугался, что они уйдут, и крикнул: «Дедушка, это я, я!» Старик метнулся к двери, принес через минуту фонарь. Вижу, фонарь так в руках и ходит.

Что оно такое — Джарылгач?

Он долго подходить боялся и не верил, что я не домовой. И говорит: «Коли ты не нечистая сила, скажи, как твое имя крещеное».— «Митька,— кричу,— Митька я, Хряпов, я с судна!» Тут только он поверил и помог мне вылезть, а баба фонарь держала. Тут стали они меня жалеть, чай поставили, печку камышом затопили. Я им рассказал про себя. А они мне сказали, что это остров Джарылгач, что здесь никто не живет, а верблюдов помещицких сюда пастись приводят, и только кой-когда старик их поить приезжает. Они могут подолгу без воды быть. Берег тут — рукой подать. А пошли верблюды за мной к избе потому, что подумали, что я их пить зову, они свой срок знают. Старик сказал, что деревня недалеко и почта там: завтра домой можно депешу послать.

Мамка

Через день я уж в деревне был и ждал, что будет из дому. Приехала мамка и не ругала, а только все ревела: поглядит — и в слезы. «Я,— говорит,— уже похоронила...» Ну, с отцом дома другой разговор был.

«МАРИЯ» И «МЭРИ»

Это было в Черном море в ноябре месяце. Русская парусная шхуна «Мария» под командой хозяина Афанасия Нечепуренки шла в Болгарию с грузом жмыхов в трюме. Была ночь, и дул свежий ветер с востока, холодный и с дождем. Ветер был почти попутный. Тяжелые, намокшие паруса едва маячили на темном небе черными пятнами. По мачтам и снастям холодными струями сбегала вода. На мокрой палубе было темно и скользко. Впрочем, сейчас и ходить было некому. Один рулевой стоял у штурвала[1] и ежился, когда холодная струя попадала с шапки за ворот. В матросском кубрике, в носу судна, в сырой духоте спало по койкам пять человек матросов. Кисло пахло махоркой и грязным человечьим жильем. Мальчишку Федьку кусали блохи, и ему не спалось. Было душно. Он встал, нащупал трап и вышел на палубу. Он натянул на голову рваный бушлат[2] и зашлепал босиком по мокрым доскам. Слышно было, как хлестко поддавала зыбь в корму. Федька хорошо узнал палубу за два года и в темноте не спотыкался. Море казалось черным как чернила, и только кое-где скалились белые гребешки.

Федька заглянул в люк хозяйской каюты. Там вспыхивал огонек папиросы.

— Эге!— крикнул Нечепуренко.— Кто це? Хведька? А ну, ходы!

---

[1] Штурвал — рулевое колесо.

[2] Бушлат — матросское полупальто.

Федька спустился в каюту.

— Хлопцы огонь задули? Ну-ну! Жгуть дурно керосин, не в думках, что в деревне люди с каганцами живуть.

Огня не было не только в кубрике, но не были выставлены и отличительные огни по бортам: справа зеленый и слева красный. По этим огням суда ночью узнают друг друга и избегают столкновений.

— Як не спишь,— продолжал хозяин,— то уж не спи: тут могут пароходы встретиться. Поглядывай в море.

Федька подошел к рулевому.

— Что трясешься?— спросил рулевой.— Ямы боишься?

— Та смерз,— сказал Федька.— А кака та яма?

— Не знаешь?

Федька много слыхал россказней про яму, не верил им, но все-таки любил послушать. А ночью так и побаивался: а вдруг в самом деле есть?

— Нема никакой ямы,— сказал Федька.— Ты ее видал?

— А вот и видал: там повсегда зыбь. Ревет!— аж воет. Я раз с греками плавал, видал, как судно туда утянуло. Хоп — и амба!

— Брешешь!— испугался Федька.

— Вот чтоб я пропал! Пароходы затягает.

— А где ж она?

— Аккурат посередь моря. Греки знают.

— Да врешь ты!— отмахивался Федька.

— Верное слово. Вот чего Афанасий не спит?— добавил рулевой вполголоса.— Накажи меня бог, ямы боится.

— Федька!— крикнул из каюты хозяин.— Смотри, огни! Уши развесил!

Федька стал вглядываться в темноту, и действительно, далеко впереди, справа, ему показался белый огонек. А сам прислушался, не гудит ли впереди яма.

Английский грузовой пароход «Мэри» с полным грузом русского хлеба шел, направляясь вдоль западного берега Черного моря в Босфор, чтоб оттуда идти дальше, в Ливерпуль.

Зеленый и красный огни ярко светились по бортам; там горели сильные электрические лампы. Еще один, белый, огонь горел на мачте. Этот огонь на мачте носят пароходы в отличие от парусных судов, которым пароходы всегда должны уступать в море дорогу.

Пароход был недавно построен, все было новенькое, и исправная машина работала как часы. На носу судна стоял вахтенный «баковый» и зорко смотрел вперед. Тут же висел большой сигнальный колокол, которым баковый давал знать вахтенному штурману, когда появится на горизонте огонь: ударить раз — значит, огонь справа, два — слева, три раза — прямо по пути парохода.

Молодой помощник капитана, штурман Юз, был на вахте и ходил взад и вперед по капитанскому мостику.

Вдруг он услышал три спешных удара в колокол с бака. Он глянул вперед: почти перед самым носом парохода слабо мигал зеленый огонек.

— Лево на борт!— крикнул Юз рулевому, и пароход резко покатился влево.

Реи парусника едва не задели пароход.

— Четвертый раз!— ворчал про себя Юз.— На курс!— скомандовал он рулевому.

Рулевой повернул штурвал, закляпала рулевая машина, и пароход пошел по прежнему направлению.

Капитан Паркер сидел на кожаном диванчике в своей каюте, которая помещалась тут же, у капитанского мостика. Две электрические лампочки горели над полированным столиком, на котором стояли бутылка виски[1] и сифон содовой воды. Капитан курил из трубки душистый английский табак и записывал в свой кожаный альбом русские впечатления. Он боялся, что за длинную дорогу забудет и не сумеет толком рассказать своим ливерпульским друзьям про Россию.

«На улицах громко говорят, кричат,— писал он,— на тротуарах толкаются и не извиняются...»

Бах, бах, бах!— опять раздались три удара с бака.

---

[1] Виски — английская водка.

Капитан Паркер надел фуражку и выскочил из каюты.

— В чем дело, Юз? Опять?— спросил он помощника.

— Право, право, еще право!— командовал Юз.

Красный огонек совсем близко проскользнул мимо левого борта.

— Что они, издеваются?— сказал Паркер.

— Мы ведь должны уступать паруснику по закону,— ответил Юз.

— Но ведь закон, мистер Юз, запрещает ходить в море без огней, как пираты. Или вы считаете правильным, когда огни внезапно появляются за три сажени?— назидательно сказал капитан.

— Что же, бить?— спросил Юз.

— Надо быть твердым, когда ты прав.

— Конечно, следовало бы проучить,— слабо заметил Юз.

— Ну, а раз так, то не меняйте в таких случаях курса, Юз,— ответил Паркер.

Капитан круто повернулся и ушел к себе в каюту.

Артур Паркер представил себе, как его пароход, гладко выкрашенный в красивый серый цвет, горит яркими электрическими огнями, чистый, сильный, гордо идет среди этих замухрышек-парусников. Джентльмен в толпе дикарей.

Он вспомнил, как в русском порту его два раза толкнули на улице. Он не успел опомниться, как уже обидчик куда-то исчез.

Артур Паркер представлял, как он будет рассказывать про это в Ливерпуле и как все будут ждать, что он сейчас скажет, как он сумел показать этим дикарям, с кем они имеют дело. А сказать было нечего. Паркер сильно досадовал на себя.

«Вот и с этим парусником упущен случай. Этот разиня Юз! Надо было просто — трах! Довольно миндальничать, носите огни в море... Какой был удобный случай проучить эту публику!»— досадовал капитан.

Паркер снова вышел на мостик. Он надеялся все-таки,

что вдруг представится еще такой же случай, и не рассчитывал на Юза.

— Они, кажется, вас выдрессировали, Юз,— едко сказал он помощнику.— Вы ловко обходите этих господ, юлите, как лакей в ресторане.

Юз молчал и смотрел вперед.

— Дядьку,— крикнул Федька хозяину,— вже блище огонь, пароход аккурат на нас идет!

Нечепуренко высунулся из каюты.

— А таки здоровый пароход,— сказал он, помолчав,— должно, с Одессы, с хлебом. А ты где, Федька, закинул той старый фалень? С него ще добры постромки выйдуть.

— Дядьку! Ой, финар давайте!— кричал Федька.

Он не спускал глаз с парохода, и ему ясно было, что если пароход через минуту не свернет, то столкновение неизбежно.

Рулевой не выдержал и стал забирать лево.

— Що злякавсь?[1]— крикнул Нечепуренко.— Держи, бисова душа, як було! На серники,— обратился он к Федьке.

Федька вырвал из рук хозяина коробок спичек и бросился в каюту, нащупал на стене фонарь, чиркнул спичку — красный. Надо правый, зеленый. Впопыхах дрожащими руками Федька чиркал спичку за спичкой; они ломались, тухли, он не мог зажечь нагоревшей светильни.

Горит! Федька с маху захлопнул дверцу — фонарь мигнул и потух.

— Не сдавайсь под ветер!— слышал он, как кричал наверху хозяин рулевому.

Федька снова чиркал спички, чувствовал, что теперь уж каждая секунда стоит жизни. Наконец он выбежал с зеленым огнем на палубу и направил фонарь к пароходу.

---

[1] Чего испугался?

Пароход был совсем близко, и Федьке казалось, что прямо в упор глядят красный и зеленый глаза парохода. Он услышал, что там спешно пробили три удара в колокол.

— Так держать!— крикнул Нечепуренко злым голосом.

— Так держать!— раздалась жесткая команда по-английски на пароходе.

Не меняя курса, «Мэри» шла прямо на парусник.

— Лева, лева!— завопил Нечепуренко.

Но было уже поздно. Федька видел, как с неудержимой силой на них из темноты летел высокий нос парохода, не замечая их, направляясь в самую середину судна. Ему стало страшно, что пароход прямо раздавит его, Федьку. Он выпустил на палубу фонарь, опрометью бросился к вантам и, как обезьяна, полез на мачту.

— Гей, гей!— в один голос крикнули хозяин и рулевой, но в тот же почти момент оба слетели с ног от удара: пароход с полного хода врезался в судно.

Раздался страшный хрустящий удар. Федьку тряхнуло, и он едва удержался на вантах. В двух аршинах от себя он ясно увидал серый корпус судна; закрыл глаза, сжался в комок и изо всей силы уцепился за ванты. Что-то грохнуло, ударило, мачту покачнуло, и, когда Федька открыл глаза, он увидел удаляющиеся огни парохода, а внизу — он ничего не мог понять — вода была в двух аршинах под ним. Он вскарабкался выше и с ужасом видел, что вода поднимается за ним. Он стал на салинг и обхватил стеньгу, не спуская глаз с воды. Черная слепая зыбь ходила там, внизу, но теперь она не шла выше, как будто бы мачта перестала погружаться. Но Федька не верил и не отводил глаз от воды.

Капитан Паркер молчал и глядел вперед, как будто ожидая еще чего-то. Ему казалось, что это еще не все. А «Мэри» все удалялась от места крушения. Команда выскочила на палубу, все тревожно спрашивали бакового, что случилось.

«Все правильно, да, да, все правильно...» — думал Паркер. Он сам не ожидал, что так все это будет, и теперь испуганная совесть искала оправданий.

— Капитан, там ведь люди остались! — взволнованным голосом сказал Юз.

— Да, да... — ответил Паркер, не понимая слов помощника.

— Право на борт! — крикнул Юз рулевому. — Обратный румб!

— Есть обратный румб! — торопливо ответил рулевой.

— Да, да, обратный румб, — сказал Паркер, как будто приходя в себя.

Команда без приказаний готовила шлюпку к спуску.

«Мэри» малым ходом пошла назад, к месту крушения. Матросы толпились на баке и, перебрасываясь тревожными словами, напряженно вглядывались в темноту ночи.

— Здесь, должно быть, — сказал Юз.

— Стоп машина! — скомандовал Паркер.

«Мэри» медленно шла с разгону. Но никто ничего не видел. Паркер скомандовал, пароход делал круги; наконец всем стало ясно, что места крушения не найти, не увидать даже плавающих обломков в темноте осенней дождливой ночи.

— Найти, непременно найти, — шептал Паркер, — всех найти, они тут плавают. Они хорошо умеют плавать... Мы всех спасем, — говорил он вслух. — Не так ли, Юз?

Юз молчал.

— Да, да, — отвечал сам себе капитан.

И он крутил, то увеличивая ход, то вдруг останавливая машину. Так длилось около часа.

— На курс, — вполголоса сказал Юз, подойдя к рулевому, и дал полный ход машине.

«Мэри» пошла опять своей дорогой на юг.

— Ведь за три сажени показались огни, Юз, не правда ли? — сказал Паркер.

— Не знаю, капитан...— ответил помощник, не повернув головы.

Паркер ушел в каюту.

Теперь он думал: «Там остались в море люди... их спасут. Ну, может быть, одного... он расскажет... а если все утонули, парусника не так скоро хватятся».

Он старался себя успокоить, вспоминая рассказы товарищей моряков, какие он слышал. Как-то все выходили с победой, и было даже весело и смешно. Он попробовал весело подумать, но случайно увидал свое лицо в зеркале, и ему стало страшно. Ему показалось, что теперь не он ведет пароход, а Юз везет его, Паркера, туда, в Константинополь. Ему казалось, что самое главное — вырваться из этого проклятого Черного моря. Прошмыгнуть через Босфор, чтобы не узнали. Проклятый серый цвет — все пароходы черные. Если б черный!.. Ему хотелось сейчас же вскочить и замазать этот предательский серый цвет.

Вдруг Паркер встал, вышел и быстро прошел в штурманскую рубку, где лежали морские карты. Через пять минут он подошел к Юзу и сказал:

— Ложитесь на курс норд-вест, восемьдесят семь градусов.

«Мэри» круто повернула вправо.

Когда Паркер ушел, Юз глянул в карту: они шли к устью Дуная.

Русский пассажирский пароход возвращался из александрийского рейса. Не прекращавшийся всю ночь сильный восточный ветер развел большую зыбь. Низкие тучи неслись над морем. Насилу рассвело. Продрогший вахтенный штурман кутался в пальто и время от времени посматривал в бинокль, отыскивая Федонисский маяк[1], и ждал смены.

— Маяка еще не видать,— сказал он пришедшему товарищу,—а вот там веха какая-то.

[1] Маяк на острове Федониси, против устья Дуная.

— Никакой тут не должно быть.

— Посмотрите,— и он передал бинокль.

— Да, да,— сказал тот, посмотрев.— Да, стойте, на ней что-то... Это мачта, право, мачта.

Доложили капитану, и вот пароход, уклонившись от пути, пошел к этой торчавшей из воды мачте. Скоро вся команда узнала, что идут к какой-то мачте, и все высыпали на палубу.

— Побей меня господь, на ней человек, чтоб я пропал!— кричал какой-то матрос.

Но с мостика в бинокль давно уже различили человека и теперь приказали спустить шлюпку. Это трудно было сделать при таком волнении, и шлюпку чуть не разбило о борт парохода. Но всем наперерыв хотелось поскорее подать помощь и узнать, в чем дело. Даже бледные от морской болезни пассажиры вылезли на палубу и ожили. Пароход стоял совсем близко, и всем уже ясно было видно, что на салинге торчавшей из воды мачты сидел мальчик.

Все напряженно следили за нырявшей в зыби шлюпкой. Подойти к мачте так, чтоб кому-нибудь перелезть на нее, нельзя было, а мальчик вниз не спускался: видно было, как кричали со шлюпки и махали руками.

— Умер, умер!— говорили пассажиры.— Застыл, бедняга.

Но мальчик вдруг зашевелился. Он, видимо, с трудом двигал руками, распутывая веревку вокруг своего тела. Потом он зашатался и плюхнулся в воду около самой шлюпки, едва не ударившись о борт. Его подхватили.

Федька был почти без чувств; с трудом удалось вырвать у него несколько слов: «Ночью... серый... нашу «Марию»... с ходу в бок...» Он скоро впал в беспамятство и бессвязно бредил. Но моряки уже знали, что случилось, и в тот же день из порта полетели телеграммы: нетрудно было установить, какой серый пароход мог оказаться в этом месте в ту ночь.

Дней через пять после крушения «Марии» черный английский пароход пришел в Константинополь и стал на якоре в проливе. Штурман отправился на шлюпке предъявить свои бумаги портовым властям. Через час к пароходу пришла с берега шлюпка с английским флагом.

— Я британский консул,— сказал вахтенному матросу высадившийся джентльмен,— проводите меня к капитану.

Капитан встал, когда в дверях каюты появился гость.

— Я здешний консул. Могу с вами переговорить? Вы капитан Артур Паркер, не так ли?

— Да, сэр...

Капитан покраснел и нахмурился. Он волновался и забыл пригласить гостя сесть.

— Откуда вы идете?— спросил консул.

— Мои бумаги на берегу.

— Мне их не надо, я верю слову англичанина.

— Из... Галаца, сэр.

— Но вы шли из России?— спросил консул.— У вас был груз для Галаца?

— Ремонт,— сказал Паркер. Он с трудом переводил дух, и консулу жалко было смотреть, как волновался этот человек.— Маленький... ремонт, сэр... в доке.

— И там красились?— спросил консул.

Паркер молчал.

Консул достал из бумажника телеграмму и молча подал ее Паркеру. Паркер развернул бумажку. Глаза его бегали по буквам, он не мог ничего прочесть, но видел, что это то, то самое, чего он так боялся. Он уронил руку с телеграммой на стол, смотрел на консула и молчал.

— Может быть, вы отправитесь со мной в консульство, капитан? Вы успокоитесь и объяснитесь,— сказал наконец консул.

Паркер надел фуражку и стал совать в карманы тужурки вещи со стола, не понимая, что делает.

— Не беспокойтесь, за вещами можно будет послать с берега,— сказал консул.

На палубе их встретил Юз. Он уже знал, в чем дело.

— Простите,— обратился он к консулу,— они все...

— Спасся один только мальчик, он дома и здоров,— ответил консул.— Их было восемь...

Паркер вздрогнул и, обогнав консула, не глядя по сторонам, быстрыми шагами направился к шлюпке. Теперь он хотел, чтобы его скорее арестовали.

На другой день черная «Мэри» вышла в Ливерпуль под командой штурмана Эдуарда Юза.

КОМПАС

Было это давно, лет, пожалуй, тридцать тому назад. Порт был пароходами набит — стать негде.

Придет пароход — вся команда высыпает на берег, и остается на пароходе один капитан с помощником, механики.

Это моряки забастовали: требовали устройства союза и чтоб жалованья прибавили.

А пароходчики не сдавались — посидите голодом, так небось назад запроситесь!

Вот уже тридцать дней бастовали моряки. Комитет выбрали. Комитет бегал, доставал поддержку: деньги собирал.

Впроголодь сидели моряки, а не сдавались.

Мы были молодые ребята, лет по двадцать каждому, и нам черт был не брат.

Вот сидели мы как-то, чай пили без сахара и спорили: чья возьмет.

Алешка Тищенко говорит:

— Нет, не сдадутся пароходчики, ничто их не возьмет. У них денег мешки наворочены. Мы вот чай пустой пьем, а они...

Подумал и говорит:

— А они лимонад.

А Сережка-Горилла рычит:

— Кабы их с этого лимонаду не вспучило. Тридцать дней хлопцы держатся, пять тысяч народу на бульваре всю траву штанами вытерли.

А Тищенко свое:

— А им что? Коров на твоем бульваре пасти? Напугал чем!

И ковыряет со злостью стол ножиком.

Тут влетает парнишка. Вспотелый, всклокоченный. Плюнул в пол, хлопнул туда фуражкой, кричит:

— Они здесь чай пьют!..

— Лимонад нам пить, что ли?— говорит Тищенко и волком на него глянул.

А тот кричит бабьим голосом:

— Они чай пьют, а с «Юпитера» дым идет!

Тищенко:

— Нехай он сгорит, «Юпитер», тебе жалко?

— С трубы,— кричит,— с трубы дым пошел!

Тут мы все встали, и Сережка-Горилла говорит:

— Это не дым идет, а провокация.

Парнишка плачет:

— Черный! Там дворники под котлами шевелят. Пошли!

Выскочили мы, пошли к «Юпитеру».

Верно, из пароходной трубы шел черный дым, а кругом — и на сходне, и на пристани, и на палубе — кавалеры в черных тужурках. Рукава русским флагом обшиты, и на поясе револьверы.

Не подойти!

— Союзники русского народа,— объясняет парнишка.

Будто мы не знаем, что такое «союз русского народа»— полицейская порода.

Когда мы на бульвар пришли, только и разговору, что про «Юпитер». Стоит народ, и все на дым смотрят.

Взялся капитан с дворниками в рейс пойти, сорвать матросскую забастовку. Капитан — из «русского народу», и охрану ему дали: двадцать пять человек. Дворники не дворники, а уголь шевелят здорово. На руль помощников капитан поставит, в машину — механиков...

— Очень просто, что снимутся,— говорит Тищенко,— а в Варне заграничную команду возьмут — и дошел.

Сережка вдруг оскалился, говорит:

— Не пустим!

— Ты ему соли на корму насыпь,— смеется Тищенко.

— Знаем, как насолить,— говорит Сережка.— Пойдем...— И толкает меня под бок.

Вышли мы из толпы.

Сережка мне говорит:

— Ты не трус?

— Трус,— говорю.

Он помолчал и говорит:

— Так вот, приходи ты сегодня в одиннадцать часов на Угольную, я около трапа тебя ждать буду. И никому ничего.

Пальцем помахал и пошел прочь.

Чудак!

Прихожу в одиннадцать на Угольную пристань. Фонари электрические горят, и от пристани на воду густая тень ложится — ничего не видать под стенкой. Дошел до трапа, на ступеньках сидит Сережка-Горилла. Сел я рядом.

— Что,— спрашиваю,— ты надумал?

— Полезай,— говорит,— в тузик вон у плота, дорогой обмозгуем.

Рассмотрелся, вижу плот и тузик.

Пошел я по плоту — не видать, где плот кончается. Ступил на воду, как на доску, и полетел в воду. Самому смешно; шинель вокруг меня венчиком плавает и я — как в розетке.

А вода весенняя, холодная.

— Я в туз. Пока вылез, хорошо намок.

Разделся я до белья — и холодно и смешно. Стал грести, согрелся.

— Ну,— говорит Серега,— начало хорошее. А сделаем мы вот что: я на «Юпитере» путевой компас из нактоуза[1] выверну и тебе в мешке спущу.

— А как подойдем? Трап ты спросишь у охранников?

[1] Нактоуз — медный предохранительный колпак с фонарями на компасе.

— Нет,— говорит,— там угольная баржа о борт с ним стоит, какого-нибудь дурака сваляем.

— Сваляем,— говорю.

И весело мне стало. Гребу я и все думаю, какого там дурака будем валять. Как-то забыл, что «союзники» там с револьверами.

А Сережка мешок скручивает и веревку приготавливает.

Обогнули мол. Вот он, «Юпитер», вот и баржонка деревянная прикорнула с ним рядом. Угольщица.

Гребу смело к пароходу. Вдруг оттуда голос:

— Кто едет?

Ну, думаю, это береговой — флотский крикнул бы: «Кто гребет?»

И отвечаю грубым голосом:

— Та не до вас, до деда.

— Какого деда там?— уж другой голос спрашивает.

А на такой барже никакого жилья не бывает, никаких дедов, и всякий гаванский человек это знает.

А я гребу и кричу ворчливо:

— Какого деда? До Опанаса, на баржу,— и протискиваю груз между баржой и пароходом.

Сережка окликает:

— Опанас! Опанас!

С парохода помогают:

— Дедушка, к вам приехали!

Залез я на баржу, с борта прыгнул на уголь и пошел в нос. А нос палубой прикрыт.

И говорю громко:

— Дедушка, дедушка, это мы. Какой вы сторож! Вас палкой не поднять, — шевелю уголь ногой.

Смотрю — и Сережка лезет ко мне.

Чиркнул спичку. А я стариковским голосом шамкаю:

— Та не жгите огня, пожару наделаете, шут с вами.

Сережка, дурак, смеется.

— Да, да, не зажигайте спичек, мы вам фонарь сейчас дадим.

И затопали по палубе.

Сережка говорит мне:

— А чудак ты, дедушка, ей-богу, чудак!

Я выглянул из-под палубы. Смотрю, уже фонарь волокут.

Я скорей к ним.

К мокрому белью уголь пристал — самый подходящий вид у меня сделался, это я уже при фонаре заметил.

Сидим мы с фонарем под палубой и вполголоса беседуем.

Я все шамкаю.

— Лезь, — шепчет Серега, — в туз, а как уйдут с борта — стукни чуть веслом в борт.

Я полез в туз.

Вдруг Серега громко говорит:

— Так вода, говоришь, у тебя в носу оставлена, дедушка?

А я знаю, что он один там, и отвечаю из туза:

— В носу, в носу вода!

— Так заткни, чтоб не вытекала! Не тебя спрашивают,— говорит Серега.

На борту засмеялись. А Серега зашагал по углю в корму. Потом вернулся. Опять прошел на корму, и все смолкло.

Смотрю — один только человек остался у борта.

— Эй, — говорит, — фонарь-то потом верните.

И отошел. Стало тихо.

Я подождал минут пять и стукнул веслом в баржу. Бережно, но четко: тук!

И тут заколотилось у меня сердце. Я прислушивался во все уши, но, кроме сердца своего, ничего не слыхал.

Глянул вверх — через щели в барже светит фонарь.

Прошел человек по палубе. Перегнулся через борт и спрашивает, как начальник:

— Это что за лодка?

И я чувствую, что скажу слово — голос сорвется. Молчу.

Он опять. Крикнул уже:

— Что это за лодка? Эй, ты!

Тут ему кто-то из ихних ответил:

— Это сюда, на баржу, к старику, свои приехали.

— Ага, — говорит и отошел.

Опять стало тихо. Я уже вверх не гляжу, смотрю по борту парохода.

Вдруг что-то вниз ползет серое по черному борту.

Я замер. Дошло до воды — стало.

Мешок.

Вся сила ко мне вернулась.

Не брякнул я, не стукнул. Протянулся тузом по борту вперед, ухватил мешок — здорово тяжелый! — и осторожно опустил в туз. В это время туз качнуло: глянул — Сережка уже стоит на корме.

Он по той же веревке слез, на которой и мешок опустил.

Я взялся за весла и стал потихоньку прогребаться вперед.

В это время с парохода кто-то крикнул:

— Эй, дед, фонарь давай! Заснул?

И мы слыхали, как кто-то спрыгнул на баржу.

Я чуть craприналег посильнее.

Фонарь стал метаться по барже.

На пароходе закричали, заголосили.

Бах, бах! — щелкнули два выстрела.

— Эй, навались!

Мы уже огибали мол. Сережка оглянулся и сказал:

— Шлюпки за нами — навались!

Я рванул раз, два — и правое весло треснуло, я повалился с банки[1].

Вскочил, смотрю — Сережка гребет по-индейски, обломком весла; как он успел на таком ходу ухватить обезьяньей хваткой обломок весла, до сих пор не пойму.

Мы завернули за мол в темную полосу под стенкой и забились между большим пароходом и пристанью, как таракан в щель.

Мы видели, как из-за мола вылетела белая шлюпка.

[1] Банка — скамья на шлюпке.

Гребли четверо. Гребли вразброд, бестолково. Орали и стреляли.

Через полчаса мы прокрались под стенкой к своей пристани.

...Наутро пришли мы с Серегой на бульвар.

Еще пуще раздымился «Юпитер».

— Снимается, снимается анафема,— говорит Тищенко.

— Капитан там аккуратист — все уже в порядке.

А тут сбоку подбавляют:

— Лиха беда начать — все пароходы вылезут. Наберут арапов, охрану поставят — и айда. Завязывай!

Тут какой-то вскочил на скамейку и начал:

— Товарищи! Не надо паники. Сотня арапов весны не делает, — и пошел и пошел...

А мы с Сережкой переглядываемся.

Снялся «Юпитер». Вышел из порта.

Ну, думаю, через полчаса пойдет капитан курс давать, глянет в путевой компас...

Погудел народ и приуныл. Сели на землю и трут затылки шапками. Всем досада.

Мы с Сережкой ушли, так никому и слова не сказали.

Зашли в трактир, чаем пополоскались.

Дружина прошла строем, что на охране парохода была.

Серьезно идут, волками по сторонам смотрят.

Часа три прошло.

Вдруг вой с бульвара, да какой! Ну, думаем, полиция орудует на бульваре.

Бросились бегом.

Смотрим — все стоят, в море смотрят и орут.

А это «Юпитер» идет назад в порт. Увидал его народ, вой поднял.

А Серега мне говорит:

— Смотри же, ни бум-бум, чтоб никто ничего!

Я так до сего времени и молчал.

Ну, теперь уж и сказать можно...

РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ

ПРО СЛОНА

Мы подходили на пароходе к Индии. Утром должны были прийти. Я сменился с вахты, устал и никак не мог заснуть: все думал, как там будет. Вот как если б мне в детстве целый ящик игрушек принесли и только завтра можно его раскупорить. Все думал: вот утром сразу открою глаза, и индусы, черные, заходят вокруг, забормочут непонятно, не то что на картинке. Бананы прямо на кусте, город новый — все зашевелится, заиграет. И слоны! Главное — слонов мне хотелось посмотреть. Все не верилось, что они там не так, как в зоологическом, а запросто ходят, возят: по улице вдруг такая громада прет!

Заснуть не мог, прямо ноги от нетерпения чесались. Ведь это, знаете, когда сушей едешь, совсем не то: видишь, как все постепенно меняется. А тут две недели океан — вода и вода,— и сразу новая страна. Как занавес в театре подняли.

Наутро затопали на палубе, загудели. Я бросился к иллюминатору, к окну, — готово: город белый на берегу стоит; порт, суда, около борта шлюпки; в них черные в белых чалмах — зубы блестят, кричат что-то; солнце светит со всей силы, жмет, кажется, светом давит. Тут я как с ума сошел, задохнулся прямо: как будто я — не я и все это сказки. Есть ничего с утра не хотел. Товарищи дорогие, я за вас по две вахты в море стоять буду — на берег отпустите скорей!

Выскочили вдвоем на берег. В порту, в городе все бурлит, кипит: народ толчется, а мы — как оголтелые и не

знаем, что смотреть, и не идем, а будто нас что несет (да и после моря по берегу всегда странно ходить). Смотрим — трамвай. Сели в трамвай, сами толком не знаем, зачем едем, лишь бы дальше,— очумели прямо. Трамвай нас мчит, мы глазеем по сторонам и не заметили, как выехали на окраину. Дальше не идет. Вылезли. Дорога. Пошли по дороге. Придем куда-нибудь!

Тут мы немного успокоились и заметили, что здорово жарко. Солнце над самой маковкой стоит; тень от тебя не ложится, а вся тень под тобой: идешь и тень свою топчешь.

Порядочно уже прошли, уж людей не стало встречаться, смотрим — навстречу слон. С ним четверо ребят — бегут рядом по дороге. Я прямо глазам не поверил: в городе ни одного не видали, а тут запросто идет по дороге. Мне казалось, что из зоологического вырвался. Слон нас увидел и остановился. Нам жутковато стало: больших при нем никого нет, ребята одни. А кто его знает, что у него на уме? Мотанет раз хоботом — и. готово.

А слон, наверно, про нас так думал: идут какие-то необыкновенные, неизвестные, — кто их знает? И стал. Сейчас хобот загнул крючком, мальчишка старший стал на крюк на этот, как на подножку, рукой за хобот придерживается, и слон его осторожно отправил себе на голову. Тот там уселся между ушами, как на столе. Потом слон тем же порядком отправил еще двоих сразу, а третий был маленький, лет четырех, должно быть, — на нем только рубашонка была коротенькая, вроде лифчика. Слон ему подставляет хобот — иди, мол, садись. А он выкрутасы разные делает, хохочет, убегает. Старший кричит ему сверху, а он скачет и дразнит — не возьмешь, мол. Слон не стал ждать, опустил хобот и пошел — сделал вид, что он на его фокусы и смотреть не хочет. Идет, хоботом мерно покачивает, а мальчишка вьется около ног, кривляется. И как раз, когда он ничего не ждал, слон вдруг хоботом цап! Да так ловко! Поймал его за рубашонку сзади и подымает наверх осторожно. Тот руками, ногами, как жучок. Нет уж! Никаких

тебе. Поднял слон, осторожно опустил себе на голову, а там ребята его приняли. Он там, на слоне, все еще воевать пробовал.

Мы поравнялись, идем стороной дороги, а слон с другого бока и на нас внимательно и осторожно глядит. А ребята тоже на нас пялятся и шепчутся меж собой. Сидят, как на дому, на крыше.

«Вот,— думаю,— здорово: им нечего там бояться. Если б и тигр попался навстречу, слон тигра поймает, схватит хоботищем поперек живота, сдавит, швырнет выше дерева и, если на клыки не подцепит, все равно будет ногами топтать, пока в лепешку не растопчет».

А тут мальчишку взял, как козявку, двумя пальчиками: осторожно и бережно.

Слон прошел мимо нас; смотрим, сворачивает с дороги и попер в кусты. Кусты плотные, колючие, стеной растут. А он через них, как через бурьян,— только ветки похрустывают,— перелез и пошел к лесу. Остановился около дерева, взял хоботом ветку и пригнул ребятам. Те сейчас же повскакали на ноги, схватились за ветку и что-то с нее обдирают. А маленький подскакивает, старается тоже себе ухватить, возится, будто он не на слоне, а на земле стоит. Слон пустил ветку и другую пригнул. Опять та же история. Тут уж маленький совсем, видно, в роль вошел: совсем залез на эту ветку, чтоб ему тоже досталось, и работает. Все кончили, слон пустил ветку, а маленький-то, смотрим, так и полетал с веткой. Ну, думаем, пропал — полетел теперь, как пуля, в лес. Бросились мы туда. Да нет, куда там! Не пролезть через кусты: колючие, и густые, и путаные. Смотрим, слон в листьях хоботом шарит. Нащупал этого маленького,— он там, видно, обезьянкой уцепился,— достал его и посадил на место. Потом слон вышел на дорогу впереди нас и пошел обратно. Мы за ним. Он идет и по временам оглядывается, на нас косится: чего, мол, сзади идут какие-то? Так мы за слоном пришли к дому. Вокруг плетень. Слон отворил хоботом калиточку и осторожно просунулся во двор; там ребят спустил на землю. Во дворе индуска на

него начала кричать чего-то. Нас она сразу не заметила. А мы стоим, через плетень смотрим.

Индуска орет на слона — слон нехотя повернулся и пошел к колодцу. У колодца врыты два столба, и между ними вьюшка; на ней веревка намотана и ручка сбоку. Смотрим, слон взялся хоботом за ручку и стал вертеть; вертит как будто пустую, вытащил — целая бадья там на веревке, ведер десять. Слон уперся корнем хобота в ручку, чтобы не вертелась, изогнул хобот, подцепил бадью и, как кружку с водой, поставил на борт колодца. Баба набрала воды, ребят тоже заставила таскать — она как раз стирала. Слон опять бадью спустил и полную выкрутил наверх. Хозяйка опять его начала ругать. Слон пустил бадью в колодец, тряхнул ушами и пошел прочь — не стал воду больше доставать, пошел под навес. А там в углу двора на хлипких столбиках навес был устроен — только-только слону под него подлезть. Сверху камышу накидано и каких-то листьев длинных.

Тут как раз индус, сам хозяин. Увидал нас. Мы говорим — слона пришли смотреть. Хозяин немного знал по-английски. Спросил, кто мы; все на мою русскую фуражку показывает. Я говорю — русские. А он и не знал, что такое русские.

— Не англичане?

— Нет,— говорю,— не англичане.

Он обрадовался, засмеялся, сразу другой стал; позвал к себе.

А индусы англичан терпеть не могут: англичане давно их страну завоевали, распоряжаются там и индусов у себя под пяткой держат.

Я спрашиваю:

— Чего это слон не выходит?

— А это он,— говорит,— обиделся, и, значит, не зря. Теперь нипочем работать не станет, пока не отойдет.

Смотрим, слон вышел из-под навеса, в калитку — и прочь со двора. Думаем, теперь совсем уйдет. А индус смеется. Слон пошел к дереву, оперся боком и ну тереться.

Дерево здоровое — прямо все ходуном ходит. Это он чешется так вот, как свинья об забор.

Почесался, набрал пыли в хобот и туда, где чесал, пылью, землей как дунет! Раз, и еще, и еще! Это он прочищает, чтобы не заводилось ничего в складках: вся кожа у него твердая, как подошва, а в складках — потоньше, а в южных странах всяких насекомых кусачих масса.

Ведь смотрите какой: об столбики в сарае не чешется, чтобы не развалить, осторожно даже пробирается туда, а чесаться ходит к дереву. Я говорю индусу:

— Какой он у тебя умный!

А он хохочет.

— Ну,— говорит, — если бы я полтораста лет прожил, не тому еще выучился бы. А он, — показывает на слона,— моего деда нянчил.

Я глянул на слона — мне показалось, что не индус тут хозяин, а слон, слон тут самый главный!

Я говорю:

— Старый он у тебя?

— Нет,— говорит,— ему полтораста лет, он в самой поре! Вон у меня слоненок есть, его сын, — двадцать лет ему, совсем ребенок. К сорока годам в силу только входить начинает. Вот погодите, придет слониха, увидите: он маленький.

Пришла слониха, и с ней слоненок — с лошадь величиной, без клыков; он за матерью, как жеребенок, шел.

Ребята индусовы бросились матери помогать, стали прыгать, куда-то собираться. Слон тоже пошел; слониха и слоненок — с ними. Индус объясняет, что на речку. Мы тоже с ребятами.

Они нас не дичились. Все пробовали говорить — они по-своему, мы по-русски — и хохотали всю дорогу. Маленький больше всех к нам приставал — все мою фуражку надевал и что-то кричал смешное — может быть, про нас.

Воздух в лесу пахучий, пряный, густой.

Шли лесом. Пришли к реке.

Не река, а поток — быстрый, так и мчит, так берег и

гложет. К воде обрывчик в аршин. Слоны вошли в воду, взяли с собой слоненка. Поставили, где ему по грудь вода, и стали его вдвоем мыть. Наберут со дна песку с водой в хобот и, как из кишек, его поливают. Здорово так — только брызги летят.

А ребята боятся в воду лезть — больно уж быстрое течение, унесет. Скачут на берегу и давай в слона камешками кидать. Ему нипочем, он даже внимания не обращает — все своего слоненка моет. Потом, смотрю, набрал в хобот воды и вдруг как повернет на мальчишек и одному прямо в пузо как дунет струей — тот так и сел. Хохочет, заливается.

Слон опять своего мыть. А ребята еще пуще камешками его донимать. Слон только ушами трясет: не приставайте, мол, видите, некогда баловаться! И как раз, когда мальчишки не ждали, думали — он водой на слоненка дунет, он сразу хобот повернул да в них.

Те рады, кувыркаются.

Слон вышел на берег; слоненок ему хобот протянул, как руку. Слон заплел свой хобот об его и помог ему на обрывчик вылезти.

Пошли все домой: трое слонов и четверо ребят.

На другой день я уж расспросил, где можно слонов поглядеть на работе.

На опушке леса, у речки, нагорожен целый город тесаных бревен: штабеля стоят, каждый вышиной в избу. Тут же стоял один слон. И сразу видно было, что он уже совсем старик — кожа на нем совсем обвисла и заскорузла, и хобот, как тряпка, болтается. Уши обгрызенные какие-то. Смотрю, из лесу идет другой слон. В хоботе качается бревно — громадный брус обтесанный. Пудов, должно быть, во сто. Носильщик грузно переваливается, подходит к старому слону. Старый подхватывает бревно с одного конца, а носильщик опускает бревно и перебирается хоботом в другой конец. Я смотрю: что же это они будут делать? А слоны вместе, как по команде, подняли бревно на хоботах вверх и аккуратно положили на штабель. Да так ровно и правильно — как плотник на постройке.

И ни одного человека около них.

Я потом узнал, что этот старый слон и есть главный артельщик: он уже состарился на этой работе.

Носильщик ушел не спеша в лес, а старик повесил хобот, повернулся задом к штабелю и стал смотреть на реку, как будто хотел сказать: «Надоело мне это, и не глядел бы».

А из лесу идет уже третий слон с бревном.

Мы — туда, откуда выходили слоны.

Прямо стыдно рассказывать, что мы тут увидели. Слоны с лесных разработок таскали эти бревна к речке. В одном месте у дороги — два дерева по бокам, да так, что слону с бревном не пройти. Слон дойдет до этого места, опустит бревно на землю, подвернет колени, подвернет хобот и самым носом, самым корнем хобота толкает бревно вперед. Земля, каменья летят, трет и пашет бревно землю, а слон ползет и пихает. Видно, как трудно ему на коленях ползти. Потом встанет, отдышится и не сразу за бревно берется. Опять повернет его поперек дороги, опять на коленки. Положит хобот на землю и коленками накатывает бревно на хобот. Как хобот не раздавит! Гляди, снова уже встал и несет. Качается, как грузный маятник, бревнище на хоботе.

Их было восемь — всех слонов-носильщиков, — и каждому приходилось пихать бревно носом: люди не хотели спилить те два дерева, что стояли на дороге.

Нам неприятно стало смотреть, как тужится старик у штабеля, и жаль было слонов, что ползли на коленках. Мы недолго постояли и ушли.

ПРО ОБЕЗЬЯНКУ

Мне было двенадцать лет, и я учился в школе. Раз на перемене подходит ко мне товарищ мой Юхименко и говорит:

— Хочешь, я тебе обезьянку дам?

Я не поверил — думал, он мне сейчас шутку какую-нибудь устроит так, что искры из глаз посыплются, и скажет: «Вот это и есть «обезьянка». Не таковский я.

— Ладно, — говорю, — знаем.

— Нет,— говорит,— в самом деле. Живую обезьянку. Она хорошая. Ее Яшкой зовут. А папа сердится.

— На кого?

— Да на нас с Яшкой. Убирай, говорит, куда знаешь. Я думаю, что к тебе всего лучше.

После уроков пошли мы к нему. Я все еще не верил. Неужели, думал, живая обезьянка у меня будет? И все спрашивал, какая она. А Юхименко говорит:

— Вот увидишь, не бойся, она маленькая.

Действительно, оказалась маленькая. Если на лапки встанет, то не больше полуаршина. Мордочка сморщенная, старушечья, а глазки живые, блестящие. Шерсть на ней рыжая, а лапки черные. Как будто человечьи руки в перчатках черных. На ней был надет синий жилет.

Юхименко закричал:

— Яшка, Яшка, иди! Что я дам!

И засунул руку в карман. Обезьянка закричала: «Ай, ай!» и в два прыжка вскочила Юхименке на руки. Он сейчас же сунул ее в шинель, за пазуху.

— Идем, — говорит.

Я глазам своим не верил. Идем по улице, несем такое чудо, и никто не знает, что у нас за пазухой.

Дорогой Юхименко мне говорил, чем кормить.

— Все ест, все давай. Сладкое любит. Конфеты — беда. Дорвется — непременно обожрется. Чай любит жидкий и чтоб сладкий был. Ты ей внакладку. Два куска. Вприкуску не давай: сахар сожрет, а чай пить не станет.

Я все слушал и думал: я ей и трех кусков не пожалею, маленькая такая, как игрушечный человек. Тут я вспомнил, что и хвоста у ней нет.

— Ты,— говорю, — хвост отрезал ей под самый корень?

— Она макака, — говорит Юхименко, — у них хвостов не растет.

Пришли мы к нам домой. Мама и девочки сидели за обедом. Мы с Юхименкой вошли прямо в шинелях.

Я говорю:

— А кто у нас есть!

Все обернулись. Юхименко распахнул шинель. Никто еще ничего разобрать не успел, а Яшка как прыгнет с Юхименки маме на голову; толкнулся ножками — и на буфет. Всю прическу маме осадил.

Все вскочили, закричали:

— Ой, кто, кто это?

А Яшка уселся на буфет и строит морды, чавкает, зубки скалит.

Юхименко боялся, что сейчас ругать его будут, и скорей к двери. На него и не смотрели — все глядели на обезьянку. И вдруг девочки все в один голос затянули:

— Какая хорошенькая!

А мама все прическу прилаживала.

— Откуда это?

Я оглянулся. Юхименки уже нет. Значит, я остался хозяином. И я захотел показать, что знаю, как с обезьянкой надо. Я засунул руку в карман и крикнул, как давеча Юхименко:

— Яшка, Яшка! Иди, я тебе что дам!

Все ждали. А Яшка и не глянул — стал чесаться меленько и часто черной лапочкой.

До самого вечера Яшка не спускался вниз, а прыгал по верхам: с буфета на дверь, с двери на шкаф, оттуда на печку.

Вечером отец сказал:

— Нельзя ее на ночь так оставлять, она квартиру вверх дном переворотит.

И я начал ловить Яшку. Я к буфету —он на печь. Я его оттуда щеткой — он прыг на часы. Качнулись часы и стали. А Яшка уже на занавесках качается. Оттуда на картину, картина покосилась,— я боялся, что Яшка кинется на висячую лампу.

Но тут уже все собрались и стали гоняться за Яшкой. В него кидали мячиком, катушками, спичками и наконец загнали в угол.

Яшка прижался к стене, оскалился и защелкал языком — пугать начал. Но его накрыли шерстяным платком и завернули, запутали.

Яшка барахтался, кричал, но его скоро укутали так, что осталась торчать одна голова. Он вертел головой, хлопал глазами, и казалось, сейчас заплачет от обиды.

Не пеленать же обезьяну каждый раз на ночь! Отец сказал:

— Привязать. За жилет — и к ножке, к столу.

Я принес веревку, нащупал у Яшки на спине пуговицу, продел веревку в петлю и крепко завязал. Жилет у Яшки на спине застегивался на три пуговки. Потом я поднес Яшку, как он был, закутанного, в столу, привязал веревку к ножке и только тогда размотал платок.

Ух, как он начал скакать! Но где ему было порвать веревку! Он покричал, позлился и сел печально на полу.

Я достал из буфета сахару и дал Яшке. Он схватил черной лапочкой кусок, заткнул за щеку. От этого вся мордочка у него скривилась.

Я попросил у Яшки лапу. Он протянул мне свою ручку.

Тут я рассмотрел, какие на ней хорошенькие черные

ноготки. Игрушечная живая ручка. Я стал гладить лапку и думаю: совсем как ребеночек. И пощекотал ему ладошку. А ребеночек-то как дернет лапку — раз, и меня по щеке. Я и мигнуть не успел, а он надавал мне оплеух и прыг под стол. Сел и скалится. Вот и ребеночек!

Но тут меня погнали спать.

Я хотел Яшку привязать к своей кровати, но мне не позволили. Я все прислушивался, что Яшка делает, и думал, что непременно ему надо устроить кроватку, чтоб он спал, как люди, и укрывался одеяльцем. Голову бы клал на подушечку. Думал, думал и заснул.

Утром вскочил и, не одеваясь, к Яшке. Нет Яшки на веревке. Веревка есть, на веревке жилет привязан, а обезьянки нет. Смотрю, все три пуговицы сзади расстегнуты. Это он расстегнул жилет, оставил его на веревке, а сам драла. Я искать по комнате. Шлепаю босыми ногами. Нигде нет. Я перепугался. А ну как убежал? Дня не пробыл, и вот на тебе! Я на шкафы заглядывал, в печку — нигде. Убежал, значит, на улицу. А на улице мороз — замерзнет бедный. И самому стало холодно. Побежал одеваться. Вдруг вижу, в моей же кровати что-то возится. Одеяло шевелится. Я даже вздрогнул. Вот он где! Это ему холодно на полу стало, он удрал и ко мне на кровать. Забился под одеяло. А я спал и не знал. Яшка спросонья не дичился, дался в руки, и я напялил на него снова синий жилет.

Когда сели пить чай, Яшка вскочил на стол, огляделся, сейчас же нашел сахарницу, запустил лапу и прыг на дверь. Он прыгал так легко, что казалось — летает, не прыгает. На ногах у обезьяны пальцы, как на руках, и Яшка мог хватать ногами. Он так и делал. Сидит, как ребенок, на руках у кого-нибудь и ручки сложил, а сам ногой со стола тянет что-нибудь.

Стащит ножик и ну с ножом скакать. Это чтобы у него отнимали, а он будет удирать. Чай Яшке дали в стакане. Он обнял стакан, как ведро, пил и чмокал. Я уж не пожалел сахару.

Когда я ушел в школу, я привязал Яшку к дверям,

к ручке. На этот раз обвязал его вокруг пояса веревкой, чтобы уж не мог сорваться. Когда я пришел домой, то из прихожей увидал, чем Яшка занимается. Он висел на дверной ручке и катался на дверях, как на карусели. Оттолкнется от косяка и едет до стены. Пихнет ножкой в стену и едет назад.

Когда я сел готовить уроки, я посадил Яшку на стол. Ему очень нравилось греться около лампы. Он дремал, как старичок на солнышке, покачивался и, прищурясь, глядел, как я тыкаю пером в чернила. Учитель у нас был строгий, и я чистенько написал страницу. Промокать не хотелось, чтобы не испортить. Оставил сохнуть. Прихожу и вижу: сидит Яков на тетради, макает пальчик в чернильницу, ворчит и выводит чернильные вавилоны по моему писанью. Ах ты, дрянь! Я чуть не заплакал с горя. Бросился на Яшку. Да куда! Он на занавески — все занавески чернилами перепачкал. Вот оно почему Юхименкин папа на них с Яшкой сердился.

Но раз и мой папа рассердился на Яшку. Яшка обрывал цветы, что стояли у нас на окнах. Сорвет лист и дразнит. Отец поймал и отдул Яшку. А потом привязал его в наказание на лестнице, что вела на чердак. Узенькая лесенка. А широкая шла из квартиры вниз.

Вот отец идет утром на службу. Почистился, надел шляпу, спускается по лестнице. Хлоп! Штукатурка падает. Отец остановился, стряхнул со шляпы. Глянул вверх — никого. Только пошел — хлоп, опять кусок известки прямо на голову. Что такое?

А мне сбоку было видно, как орудовал Яшка. Он наломал от стенки известки, разложил по краям ступенек, а сам прилег, притаился на лестнице, как раз у отца над головой. Только отец пошел, а Яшка тихонечко толк ножкой штукатурку со ступеньки и так ловко примерил, что прямо отцу на шляпу, — это он ему мстил за то, что отец вздул его накануне.

Но когда началась настоящая зима, завыл ветер в трубах, завалило окно снегом, Яшка стал грустным. Я его все

грел, прижимал к себе. Мордочка у Яшки стала печальная, обвисшая, он подвизгивал и жался ко мне. Я попробовал сунуть его за пазуху, под куртку. Яшка сейчас же там устроился: он схватился всеми четырьмя лапками за рубаху и так повис, как приклеился. Он так и спал там, не разжимая лап. Забудешь другой раз, что у тебя живой набрюшник под курткой, и обопрешься о стол. Яшка сейчас лапкой заскребет мне бок: дает мне знать, чтоб осторожней.

Вот раз в воскресенье пришли в гости девочки. Сели завтракать. Яшка смирно сидел у меня за пазухой, и его совсем не было заметно. Под конец роздали конфеты. Только я стал первую разворачивать, вдруг из-за пазухи, прямо из моего живота, вытянулась мохнатая ручка, ухватила конфету и назад. Девочки взвизгнули от страха. А это Яшка услышал, что бумагой шелестят, и догадался, что едят конфеты. А я девочкам говорю: «Это у меня третья рука; я этой рукой прямо в живот конфеты сую, чтоб долго не возиться». Но уж все догадались, что это обезьянка, и из-под куртки слышно было, как хрустит конфета: это Яшка грыз и чавкал, как будто я животом жую.

Яшка долго злился на отца. Примирился Яшка с ним из-за конфет. Отец мой как раз бросил курить и вместо папирос носил в портсигаре маленькие конфетки. И каждый раз после обеда отец открывал тугую крышку портсигара большим пальцем, ногтем, и доставал конфетки. Яшка тут как тут: сидит на коленях и ждет,— ерзает, тянется. Вот отец раз и отдал весь портсигар Яшке. Яшка взял его в руку, а другой рукой, совершенно как мой отец, стал подковыривать большим пальцем крышку. Пальчик у него маленький, а крышка тугая и плотная, и ничего не выходит у Яшеньки. Он завыл с досады. А конфеты брякают. Тогда Яшка схватил отца за большой палец и его ногтем, как стамеской, стал отковыривать крышку. Отца это рассмешило, он открыл крышку и поднес Яшке. Яшка сразу запустил лапу, награбастал полную горсть, скорей в рот и бегом прочь. Не каждый же день такое счастье!

Был у нас знакомый доктор. Болтать любил — беда.

Особенно за обедом. Все уж кончили, у него на тарелке все простыло, тогда он только хватится — поковыряет, наспех глотнет два куска:

— Благодарю вас, я сыт.

Вот раз обедает он у нас, ткнул вилку в картошку и вилкой этой размахивает — говорит. Разошелся — не унять. А Яшка, вижу, по спинке стула поднимается, тихонько подкрался и сел у доктора за плечом. Доктор говорит:

— И понимаете, тут как раз... — И остановил вилку с картошкой возле уха — на один момент всего.

Яшенька лапочкой тихонько за картошку и снял ее с вилки — осторожно, как вор. А доктор дальше:

— И представьте себе... — И тык пустой вилкой себе в рот. Сконфузился — думал, стряхнул картошку, когда руками махал, оглядывается.

А Яшки уж нет — сидит в углу и прожевать картошку не может, всю глотку забил.

Доктор сам смеялся, а все-таки обиделся на Яшку.

Яшке устроили в корзинке постель: с простыней, одеяльцем, подушкой. Но Яшка не хотел спать по-человечьи: все наматывал на себя клубком и таким чучелом сидел всю ночь. Ему сшили платьице, зелененькое, с пелеринкой, и стал он похож на стриженую девочку из приюта.

Вот раз я слышу звон в соседней комнате. Что такое? Пробираюсь тихонько и вижу: стоит на подоконнике Яшка в зеленом платьице, в одной руке у него ламповое стекло, а в другой ежик, и он ежиком с остервенением чистит стекло. В такую ярость пришел, что не слыхал, как я вошел. Это он видел, как стекла чистили, и давай сам пробовать.

А то оставишь его вечером с лампой, он отвернет огонь полным пламенем — лампа коптит, сажа летает по комнате, а он сидит и рычит на лампу.

Беда стала с Яшкой, хоть в клетку сажай. Я его и ругал и бил. Но долго не мог на него сердиться. Когда Яшка хотел понравиться, он становился очень ласковым, залезал

на плечи и начинал в голове искать. Это значит — он вас уж очень любит.

Надо ему выпросить что-нибудь — конфет там или яблоко, — сейчас залезет на плечо и заботливо начинает лапками перебирать в волосах: ищет и ноготком поскребывает. Ничего не находит, а делает вид, что поймал зверя: выкусывает с пальчиков чего-то.

Вот раз пришла к нам в гости дама. Она считала, что она раскрасавица. Разряженная. Вся так шелком и шуршит. На голове не прическа, а прямо целая беседка из волос накручена — в завитках, в локончиках. А на шее на длинной цепочке зеркальце в серебряной оправе.

Яшка осторожно к ней по полу подскочил.

— Ах, какая обезьянка миловидная! — говорит дама. И давай зеркальцем с Яшкой играть.

Яшка поймал зеркальце, повертел — прыг на колени к даме и стал зеркальце на зуб пробовать.

Дама отняла зеркальце, зажала в руке. А Яшке хочется зеркало получить. Дама погладила небрежно Яшку перчаткой и потихоньку спихивает с колен. Вот Яшка и решил понравиться, подольститься к даме. Прыг ей на плечо. Крепко ухватился за кружева задними лапками и взялся за прическу. Раскопал завитки и стал искать. Дама покраснела.

— Пошел, пошел! — говорит.

Не тут-то было! Яшка еще больше старается: скребет ноготками, зубами щелкает.

Дама эта всегда против зеркала садилась, чтоб на себя полюбоваться, и видит в зеркало, что взлохматил ее Яшка,— чуть не плачет. Я двинулся на выручку. Куда там! Яшка вцепился что было силы в волосы и на меня глядит дико. Дама дернула его за шиворот, и своротил ей Яшка прическу. Глянула на себя в зеркало — чучело чучелом. Я замахнулся, спугнул Яшку, а гостья наша схватилась за голову и в дверь.

— Безобразие, — говорит, — безобразие! — И не попрощалась ни с кем.

«Ну,— думаю, — держу до весны и отдам кому-нибудь, если Юхименко не возьмет. Уж столько мне попадало за эту обезьянку».

И вот настала весна. Потеплело. Яшка ожил и еще больше проказил. Очень ему хотелось на двор, на волю. А двор у нас был огромный, с десятину. Посреди двора был сложен горой казенный уголь, а вокруг склады с товаром. И от воров сторожа держали на дворе целую свору собак. Собаки большие, злые. А всеми собаками командовал рыжий пес Каштан. На кого Каштан зарычит, на того все собаки бросаются. Кого Каштан пропустит, и собаки не тронут. А чужую собаку бил Каштан с разбегу грудью. Ударит, с ног собьет и стоит над ней, рычит, а та уж и шелохнуться боится.

Я посмотрел в окно — вижу, нет собак во дворе. Дай, думаю, пойду выведу Яшеньку погулять первый раз. Я надел на него зелененькое платьице, чтобы он не простудился, посадил к себе на плечо и пошел. Только я двери раскрыл, Яшка — прыг наземь и побежал по двору. И вдруг, откуда ни возьмись, вся стая собачья, и Каштан впереди, прямо на Яшку. А он, как зелененькая куколка, стоит маленький. Я уж решил, что пропал Яшка — сейчас разорвут. Каштан сунулся к Яшке. Но Яшка повернулся к нему, присел, прицелился. Каштан стал за шаг от обезьянки, оскалился и ворчал, но не решался броситься на такое чудо. Собаки все ощетинились и ждали, что Каштан.

Я хотел броситься выручать. Но вдруг Яшка прыгнул и в один момент уселся Каштану на шею. И тут шерсть клочьями полетела с Каштана. По морде и глазам бил Яшка, так что лап не видно было. Взвыл Каштан, и таким ужасным голосом, что все собаки врассыпную бросились. Каштан сломя голову пустился бежать, а Яшка сидит, вцепился ногами в шерсть, крепко держится, а руками рвет Каштана за уши, щиплет шерсть клочьями. Каштан с ума сошел: носится вокруг угольной горы с диким воем. Раза три обежал Яшка верхом вокруг двора и на ходу спрыгнул на уголь. Взобрался не торопясь на самый верх. Там была

деревянная будка; он влез на будку, уселся и стал чесать себе бок как ни в чем не бывало. Вот, мол, я,— мне нипочем!

А Каштан — в ворота от страшного зверя.

С тех пор я смело стал выпускать Яшку во двор: только Яшка с крыльца — все собаки в ворота. Яшка никого не боялся.

Приедут во двор подводы, весь двор забьют, пройти негде. А Яшка с возу на воз перелетает. Вскочит лошади на спину — лошадь топчется, гривой трясет, фыркает, а Яшка не спеша на другую перепрыгивает. Извозчики только смеются и удивляются:

— Смотри, какая сатана прыгает. Ишь ты! У-ух!

А Яшка — на мешки. Ищет щелочки. Просунет лапку и щупает, что там. Нащупает, где подсолнухи, сидит и тут же на возу щелкает. Бывало, что и орехи нащупает Яшка. Набьет за щеки и во все четыре руки старается нагрести.

Но вот нашелся у Якова враг. Да какой! Во дворе был кот. Ничей. Он жил при конторе, и все его кормили объедками. Он разжирел, стал большой, как собака. Злой был и царапучий.

И вот раз под вечер гулял Яшка по двору. Я его никак не мог дозваться домой. Вижу, вышел во двор котище и прыг на скамью, что стояла под деревом. Яшка как увидел кота — прямо к нему. Присел и идет не спеша на четырех лапах. Прямо к скамье и глаз с кота не спускает. Кот подобрал лапы, спину нагорбил, приготовился. А Яшка все ближе ползет. Кот глаза вытаращил, пятится. Яшка — на скамью. Кот все задом на другой край, к дереву. У меня сердце замерло. А Яшка по скамье ползет на кота. Кот уж в комок сжался, подобрался весь. И вдруг — прыг, да не на Яшку, а на дерево. Вцепился за ствол и глядит сверху на обезьянку. А Яшка все тем же ходом к дереву. Кот поцарапался выше — привык на деревьях спасаться. А Яшка на дерево, и все не спеша, целится на кота черными глазками. Кот выше, влез на ветку и сел с самого краю. Смотрит, что Яшка будет делать. А Яков по той же ветке ползет и так

уверенно, будто он сроду ничего другого не делал, а только котов ловил. Кот уж на самом краю, на тоненькой веточке еле держится, качается. А Яков ползет и ползет, цепко перебирает всеми четырьмя ручками. Вдруг кот прыг с самого верху на мостовую, встряхнулся и во весь дух прочь без оглядки. А Яшка с дерева ему вдогонку: «Йай, йау!» — каким-то страшным, звериным голосом,— я у него никогда такого не слышал.

Теперь уж Яков стал совсем царем во дворе. Дома он уже есть ничего не хотел, только пил чай с сахаром. И раз так на дворе изюму наелся, что еле-еле его отходили. Яшка стонал, на глазах слезы, и на всех капризно смотрел. Всем было сначала очень жалко Яшку, но, когда он увидел, что с ним возятся, стал ломаться и разбрасывать руки, закидывать голову и подвывать на разные голоса. Решили его укутать и дать касторки. Пусть знает.

А касторка ему так понравилась, что он стал орать, чтобы ему еще дали. Его запеленали и три дня не пускали на двор.

Яшка скоро поправился и стал рваться во двор. Я за него не боялся. Поймать его никто не мог, и Яшка целыми днями прыгал по двору. Дома стало спокойнее, и мне меньше влетало за Яшку. И как настала осень, все в доме в один голос:

— Куда хочешь убирай свою обезьянку или сажай в клетку. А чтоб по всей квартире эта сатана не носилась.

То говорили, какая хорошенькая, а теперь, думаю, сатана стала. И как только началось ученье, я стал искать в классе, кому бы сплавить Яшку.

Подыскал наконец товарища, отозвал в сторону и сказал:

— Хочешь, я тебе обезьянку подарю? Живую.

Не знаю уж, кому он потом Яшку сплавил. Но первое время, как не стало Яшки в доме, я видел, что все немного скучали, хоть признаваться и не хотели.

МАНГУСТА

Я очень хотел, чтобы у меня была настоящая, живая мангуста. Своя собственная. И я решил: когда наш пароход придет на остров Цейлон, я куплю себе мангусту и отдам все деньги, сколько ни спросят.

И вот наш пароход у острова Цейлона. Я хотел скорей бежать на берег, скорей найти, где они продаются, эти зверьки. И вдруг к нам на пароход приходит черный человек (тамошние люди все черные), и все товарищи обступили его, толпятся, смеются, шумят. И кто-то крикнул: «Мангусты!» Я бросился, всех растолкал и вижу — у черного человека в руках клетка, а в ней серые зверьки. Я так боялся, чтобы кто-нибудь не перехватил, что закричал прямо в лицо этому человеку:

— Сколько?

Он даже испугался сначала, так я крикнул. Потом понял, показал три пальца и сунул мне в руки клетку. Значит, всего три рубля, с клеткой вместе, и не одна, а две мангусты! Я сейчас же расплатился и перевел дух: я совсем запыхался от радости. Так обрадовался, что забыл спросить этого черного человека, чем кормить мангуст, ручные они или дикие. А вдруг они кусаются? Я спохватился, побежал за человеком, но его уже и след простыл.

Я решил сам узнать, кусаются мангусты или нет. Я просунул палец через прутья клетки. И просунуть-то не успел, как уж слышу — готово: мой палец схватили. Схватили маленькие лапки, цепкие, с ноготками. Быстро-быстро кусает меня мангуста за палец. Но совсем не больно —

это она нарочно, так — играет. А другая забилась в угол клетки и глядит искоса черными блестящими глазами.

Мне скорей захотелось взять на руки, погладить эту, что кусает для шутки. И только я приоткрыл клетку, эта самая мангуста — юрк! — и уж побежала по каюте. Она суетилась, бегала по полу, все нюхала и крякала: кррык! кррык! — как будто ворона. Я хотел ее поймать, нагнулся, протянул руку, и вмиг мангуста мелькнула мимо моей руки, и уже в рукаве. Я поднял руку — и готово: мангуста уж за пазухой. Она выглянула из-за пазухи, крикнула весело и снова спряталась. И вот слышу — она уже под мышкой, пробирается в другой рукав и выскочила из другого рукава на волю. Я хотел ее погладить и только поднес руку, как вдруг мангуста подскочила вверх сразу на всех четырех лапах, как будто под каждой лапой пружинка. Я даже руку отдернул, будто от выстрела. А мангуста снизу глянула на меня веселыми глазками и снова кррык! И смотрю — уж сама на колени ко мне взобралась и тут свои фокусы показывает: то свернется, то вмиг расправится, то хвост трубой, то вдруг голову просунет меж задних ног. Она так ласково, так весело со мной играла, а тут вдруг постучали в каюту и вызвали меня на работу.

Надо было погрузить на палубу штук пятнадцать огромных стволов каких-то индийских деревьев. Они были корявые, с обломанными сучьями, дуплистые, толщенные, в коре, — как были из лесу. Но с отпиленного конца видно было, какие они внутри красивые — розовые, красные, совсем черные! Мы клали их горкой на палубу и накрепко укручивали цепями, чтобы в море не разболтало. Я работал и все думал: «Что там мои мангусты? Ведь я им ничего поесть не оставил».

Я спрашивал черных грузчиков, тамошних людей, что пришли с берега, не знают ли они, чем кормить мангусту, но они ничего не понимали и только улыбались. А наши говорили:

— Давай что попало: она сама разберет, что ей надо.

Я выпросил у повара мяса, накупил бананов, притащил хлеба, блюдце молока. Все это поставил посреди каюты и открыл клетку. Сам залез на койку и стал глядеть. Из клетки выскочила дикая мангуста, и они вместе с ручной прямо бросились на мясо. Они рвали его зубами, крякали и урчали, лакали молоко, потом ручная ухватила банан и потащила его в угол. Дикая — прыг! — и уж рядом с ней. Я хотел поглядеть, что будет, вскочил с койки, но уже поздно: мангусты бежали назад. Они облизывали мордочки, а от банана остались на полу одни шкурки, как тряпочки.

Наутро мы были уже в море. Я всю свою каюту увесил гирляндами бананов. Они на веревочках качались под потолком. Это для мангуст. Я буду давать понемногу — надолго хватит. Я выпустил ручную мангусту, и она теперь бегала по мне, а я лежал полузакрыв глаза и недвижно.

Гляжу — мангуста прыгнула на полку, где были книги. Вот она перелезла на раму круглого пароходного окна. Рама слегка вихлялась — пароход качало. Мангуста покрепче примостилась, глянула вниз на меня. Я притаился. Мангуста толкнула лапкой в стенку, и рама поехала вбок. И в тот самый миг, когда рама была против банана, мангуста рванулась, прыгнула и обеими лапками ухватила банан. Она повисла на момент в воздухе, под самым потолком. Но банан оторвался, и мангуста шлепнулась об пол. Нет! Шлепнулся-то банан. Мангуста прыгнула на все четыре лапки. Я привскочил поглядеть, но мангуста уже возилась под койкой. Через минуту она вышла с замазанной мордой. Она покрякивала от удовольствия.

Эге! Пришлось перевесить бананы к самой середине каюты: мангуста уже пробовала по полотенцу вскарабкаться повыше. Лазала она, как обезьяна: у нее лапки, как ручки. Цепкие, ловкие, проворные. Она совсем меня не боялась. Я выпустил ее на палубу погулять на солнце. Она сразу по-хозяйски все обнюхала и бегала по палубе так, будто она и сроду нигде больше не была и тут ее дом.

Но на пароходе у нас был свой давнишний хозяин на палубе. Нет, не капитан, а кот. Громадный, откормленный,

в медном ошейнике. Он важно ходил по палубе, когда было сухо. Сухо было и в этот день. И солнце поднялось над самой мачтой. Кот вышел из кухни, поглядел, все ли в порядке.

Он увидел мангусту и быстро пошел, а потом начал осторожно красться. Он шел по железной трубе. Она тянулась по палубе. Как раз у этой трубы суетилась мангуста. Она как будто и не видела кота. А кот был уже совсем над нею. Ему оставалось только протянуть лапу, чтобы вцепиться когтями ей в спину. Он выжидал, чтобы поудобней. Я сразу сообразил, что сейчас будет. Мангуста не видит, она спиной к коту, она разнюхивает палубу как ни в чем не бывало; кот уж прицелился.

Я бросился бегом. Но я не добежал. Кот протянул лапу. И в тот же миг мангуста просунула голову меж задних лап, разинула пасть, громко каркнула, а хвост — громадный пушистый хвост — поставила вверх столбом, и он стал как ламповый ежик, что стекла чистят. В одно мгновение она обратилась в непонятное, невиданное чудище. Кота отбросило назад, как от каленого железа. Он сразу повернул и, задрав хвост палкой, понесся прочь без оглядки. А мангуста как ни в чем не бывало снова суетилась и что-то разнюхивала на палубе. Но с тех пор красавца кота редко кто видел. Мангуста на палубе — кота и не сыщешь. Его звали и «кис-кис» и «Васенька». Повар его мясом приманивал, но кота найти нельзя было, хоть обыщи весь пароход. Зато у кухни теперь вертелись мангусты; они крякали, требовали от повара мяса. Бедный Васенька только по ночам пробирался к повару в каюту, и повар его прикармливал мясом. Ночью, когда мангусты были в клетке, наступало Васькино время.

Но вот раз ночью я проснулся от крика на палубе. Тревожно, испуганно кричали люди. Я быстро оделся и выбежал. Кочегар Федор кричал, что сейчас идет он с вахты и вот из этих самых индийских деревьев, вот из этой груды, выползла змея и сейчас же назад спряталась. Что змея — во! — в руку толщиной, чуть ли не две сажени длиной.

И вот даже на него супулась. Никто не верил Федору, но все же на индийские деревья поглядывали с опаской. А вдруг и вправду змея? Ну, не в руку толщиной, а ядовитая? Вот и ходи тут ночью! Кто-то сказал: «Они тепло любят, они к людям в койки заползают». Все примолкли. Вдруг все повернулись ко мне.

— А ну, зверюшек сюда, мангустов ваших! А ну, пусть они...

Я боялся, чтобы ночью не убежала дикая. Но думать больше некогда: уже кто-то сбегал ко мне в каюту и уже нес сюда клетку. Я открыл ее около самой груды, где кончались деревья и видны были черные ходы между стволами. Кто-то зажег электрическую люстру. Я видел, как первой юркнула в черный проход ручная. И следом за ней дикая. Я боялся, что им прищемит лапки или хвост среди этих тяжелых бревен. Но уже было поздно: обе мангусты ушли туда.

— Неси лом! — крикнул кто-то.

А Федор уже стоял с топором. Потом все примолкли и стали слушать. Но ничего не слышно было, кроме скрипа колод. Вдруг кто-то крикнул:

— Гляди, гляди! Хвост!

Федор замахнулся топором, другие отсунулись дальше. Я схватил Федора за руку. Он с перепугу чуть не хватил топором по хвосту; хвост был не змеи, а мангусты — он то высовывался, то снова втягивался. Потом показались задние лапки. Лапки цеплялись за дерево. Видно, что-то тянуло мангусту назад.

— Помоги кто-нибудь! Видишь, ей не по силам! — крикнул Федор.

— А сам-то чего? Командир какой! — ответили из толпы.

Никто не помогал, а все пятились назад, даже Федор с топором. Вдруг мангуста взловчилась; видно было, как она вся извилась, цепляясь за колоды. Она рванулась и вытянула за собой змеиный хвост. Хвост мотнулся, он вскинул вверх мангусту и брякнул ее о палубу.

— Убил, убил! — закричали кругом.

Но моя мангуста — это была дикая — мигом вскочила на лапы. Она держала змею за хвост, она впилась в нее своими острыми зубками. Змея сжималась, тянула дикую снова в черный проход. Но дикая упиралась всеми лапками и вытаскивала змею все больше и больше. Змея была толщиной в два пальца, и она била хвостом о палубу, как плетью, а на конце держалась мангуста, и ее бросало из стороны в сторону. Я хотел обрубить этот хвост, но Федор куда-то скрылся вместе с топором. Его звали, но он не откликался. Все в страхе ждали, когда появится змеиная голова. Сейчас уже конец, и вырвется наружу вся змея. Это что? Это не змеиная голова — это мангуста! Вот и ручная прыгнула на палубу, она впилась в шею змеи сбоку. Змея извивалась, рвалась, она стучала мангустами по палубе, а они держались, как пиявки.

Вдруг кто-то крикнул:

— Бей! — и ударил ломом по змее.

Все бросились и кто чем стали молотить. Я боялся, что в переполохе убьют мангуст. Я оторвал от хвоста дикую.

Она была в такой злобе, что укусила меня за руку: она рвалась и царапалась. Я сорвал с себя шапку и завернул ей морду. Ручную оторвал мой товарищ. Мы усадили их в клетку. Они кричали и рвались, хватали зубами решетку.

Я кинул им кусочек мяса, но они и внимания не обратили. Я потушил в каюте свет и пришел прижечь йодом покусанные руки.

А там, на палубе, все еще молотили змею. Потом выкинули за борт.

С этих пор все стали очень любить моих мангуст и таскали им поесть что у кого было. Ручная перезнакомилась со всеми, и ее под вечер трудно было дозваться: вечно гостит у кого-нибудь. Она бойко лазила по снастям. И раз под вечер, когда уже зажгли электричество, мангуста полезла на мачту по канатам, что шли от борта. Все любовались на ее ловкость, глядели, задрав головы. Но вот канат дошел до мачты. Дальше шло голое, скользкое дерево. Но

мангуста извернулась всем телом и ухватилась за медные трубки. Они шли вдоль мачты. В них — электрические провода к фонарю наверху. Мангуста быстро полезла еще выше. Все внизу захлопали в ладоши. Вдруг электротехник крикнул:

— Там провода голые! — и побежал тушить электричество.

Но мангуста уже схватилась лапкой за голые провода. Ее ударило электрическим током, и она упала с высоты вниз. Ее подхватили, но она уже была недвижна.

Она была еще теплая. Я скорей понес ее в каюту доктора. Но каюта его была заперта. Я бросился к себе, осторожно уложил мангусту на подушку и побежал искать нашего доктора. «Может быть, он спасет моего зверька?» — думал я. Я бегал по всему пароходу, но кто-то уже сказал доктору, и он быстро шел мне навстречу. Я хотел, чтобы скорей, и тянул доктора за руку. Вошли ко мне.

— Ну, где же она? — сказал доктор.

Действительно, где же? На подушке ее не было. Я посмотрел под койку. Стал шарить там рукой. И вдруг: кррык-кррык! — и мангуста выскочила из-под койки как ни в чем не бывало — здоровехонька.

Доктор сказал, что электрический ток, наверно, только на время оглушил ее, а пока я бегал за доктором, мангуста оправилась. Как я радовался! Я все ее к лицу прижимал и гладил. И тут все стали приходить ко мне, все радовались и гладили мангусту — так ее любили.

А дикая потом совсем приручилась, и я привез мангуст к себе домой.

ТИХОН МАТВЕИЧ

Это было в царское время на грузовом пароходе. Он ходил на Дальний Восток. И все это началось с порта Коломбо, на острове Цейлоне. Это английская колония[1], а туземное население — сингалезы. Они шоколадного цвета, и мужчины здорово похожи на цыган.

И вот на пароход приходят два сингалеза. Один высокий и статный, другой — пониже, широкий, на редкость крепко сшитый человек. Он-то и говорил, высокий больше молчал. Можно было понять, что он говорит про зверей. Он говорил на ломаном английском языке. Его обступили машинисты. Кто-то грубо спросил, где у него левый глаз. Левого глаза действительно не было... Он сказал, что глаз ему выбил тигр.

Они с братом охотники. Ловят зверей живьем и продают в зверинцы. Тигр прыгнул, брат должен был поднять сетку.

— В один миг тигр лапами попадает в нее, а вот ему приходится в это время тигру в пасть засунуть руку. В руке бамбуковая палочка, и если сжать ее в кулаке, то с обеих сторон выскакивают короткие ножики и так остаются торчать. Они вонзаются в язык и небо, — сингалез пальцами стал показывать у себя во рту, как становится палочка. — Но если нажать раньше, палочка не влезет в пасть. А если поставить криво, пропало все; но уж если удалось, тигр от боли забывает все. Он лапами хочет вы-

[1] С 1848 года Цейлон получил права доминиона (самоуправляющаяся часть Британской империи).

скрести палочку из пасти, лапы путаются в сетке, но тут не зевай: охотники подкуривают его снотворной отравой. Он засыпает, замирает. С ним можно делать что угодно. Они вынимают палочку.

— Заливает! Калоши заливает! — сказал Храмцов, старший машинист.

Он был атлет и франт. Он франтил мускулатурой и ходил в одной сетке на голом теле, а усики закручивал в острые стрелки. И он мигнул сингалезу нахально и помахал перед носом пальцем. Сингалез показал на груди шрамы. Они, как белые восклицательные знаки, шли от ключицы вкось к животу. Сингалез был до пояса голый, но казалось, что он в коричневой фуфайке и его закапали штукатуркой.

— Это вот брат не успел, на один всего миг опоздал поднять сетку, и тигр задел его лапой, но зато брат успел выстрелить.

— Сказки! Расскажи еще, как летающих медведей ловил, — говорил Храмцов.

Он сделал шагов пять по палубе, но снова вернулся. Сингалез уже говорил про обезьян. Он говорил про оранга. Ловить ездили на остров Борнео. Говорил, что если оранга встретить в лесу и нет ружья, то не стоит пытаться бороться: захочет оранг — и задушит, как мышь.

— А велик ли оранг? — спросил Храмцов.

Сингалез показал метра на полтора от палубы.

— А если ему в морду? — И Храмцов замахнулся кулаком. — Бокс, бокс! Понимаешь?

Сингалез улыбнулся.

Но машинист Марков, многосемейный человек, спросил:

— А почем штука оранги эти здесь, на месте?

Сингалез назвал цену.

— А в Нагасаках?

Да, выходило, что в Японии, если продать немецкому агенту, который скупает зверей для зоопарков, то заработать можно рубль на рубль.

— Дай мне сюда твою обезьяну, так ты у ней зубов не соберешь! — кричал Храмцов и выпячивал грудь. Грудь действительно здоровая, и мускулы — как живая резина.

— Да брось ты, надо дело говорить, — гнусил Марков и заводил усы себе в рот — это всякий раз у него, как разговор заходил о деньгах.

Он пробовал торговаться. Деньги действительно большие. Он хмуро оглядел всех и вдруг сказал:

— Айда, покупаю.

— А вдруг сдохнет дорогой? — сказал кто-то.

Марков засосал усы и долго зло глядел на сингалеза. Но сингалез говорил с братом, потом оба подошли к машинистам.

Они говорили, что пусть поедут посмотрят — есть одна очень здоровая обезьяна. Ух, какая сильная! Не оранг, они ее иначе называли.

* * *

Решили сейчас же идти на берег трое, Марков четвертым, глядеть обезьян. Увязался и радист Асейкин, совсем молодой, долговязый; он первый раз попал в тропики и ходил как пьяный от счастья. Он все покупал дорогой маленькие вещи из дерева и из кости и все нюхал их. Хотел увезти с собой аромат этой нагретой солнцем земли, аромат зноя, когда начинают пахнуть и сами камни. А машинисты говорили, как бы Марков не надул сингалеза и что цены на зверей есть в каталоге. Где бы достать?

Это был небольшой дворик, и в нем два сарайчика. В один из сарайчиков ввел всю гурьбу сингалез. Сначала показалось темно — и все попятились. Из темноты раздался рев... Нет! Это было мычанье, каким вдруг начинает орать глухонемой в беде, в отчаянии, в злобе, но голос страшной силы и злобы.

Теперь ясно видно стало: сарай был надвое разделен

решеткой, железными прутьями в палец толщиной, если не толще; низ их уходил в помост, верх был заделан в потолок. И там, за решеткой, на помосте, стоял, держась за прутья... кто? Сначала показалось, что человек в лохмотьях. Нет! Огромная обезьяна. Она глядела на людей большими черными глазами, страшными потому, что как будто из человечьих глаз смотрели собачьи зрачки, и пламенная, неукротимая ненависть была в этом взгляде. Низкий лоб и короткие волосы острой щетиной.

— Горилла! Тьфу, черт какой! — сказал Марков.

Но в этот момент горилла рванула и затрясла железную решетку и заорала мучительным ревом с ярой ненавистью. Она в бешенстве старалась укусить себя за плечо и не могла: железный воротник вокруг шеи подпирал эту голову с клыками, голову гориллы. Клетка трепетала в ее руках. Кроме Асейкина, все выскочили во двор. Сингалез показывал Асейкину на один прут. Его обезьяна вдолбила в потолок настолько, что он поднялся на полфута над помостом. Нижний конец этого прута был загнут крючком. Это она хотела расширить отверстие, схватила рукой и навернула на кулак. Сингалез объяснил, что они с братом ездили в Африку, в Нижнюю Гвинею. Они поймали ее в сетку из толстых веревок. Но она все равно их разгрызла бы зубами, изорвала бы в клочья. Они успели ее подкурить своим дурманом, и она заснула. Они надели на нее кандалы и заперли в клетку. Ух, как она взъярилась очнувшись! Она в ярости кусала, рвала зубами свои плечи. Ее усыпили снова, надели ошейник.

Марков ругался на дворе, требовал показать товар, о котором говорилось на пароходе. Это в другом сарае.

Сингалез кивнул на гориллу и весело сказал:

— Бокс! Бокс!

Все вспомнили Храмцова. Но Марков торопил. Люди были отпущены на час.

* * *

В другой сарай уже не решились войти сразу — через двери глядели. Там, полулежа на рисовой соломе, пузатый оранг искал в голове у другого. Оба оглянулись на людей. Они глядели спокойно, даже с ленивым любопытством. Рыжая борода придавала орангу вид простака, немного дурковатого, но добродушного и без хитрости. Другая обезьяна была его женой.

— Леди, Леди,— объяснял хозяин.

У Леди живот был таким же пузатым, как и у ее мужа. Большой рот, казалось, улыбался.

Асейкин захохотал от радости. Он совсем близко подошел. Сингалез его не удерживал. Асейкин уже поздоровался с орангом за руку. Сингалез утверждал, что обезьяны эти совершенно ручные, что, если их не обижать, с ними можно жить в одной комнате.

Все осмелели. Оранг темными глазами разглядывал не спеша всех по очереди.

Марков ругался:

— Это же пара: разделить, так он от тоски сдохнет. И ведь этакие деньги!

Оказалось, не поняли: эти деньги сингалез хотел за пару, он их только вместе и продает.

Марков повеселел. Он заставил сингалеза поднять оранга, провести; он уже хотел, как у лошади, глядеть зубы.

Нет, цена действительно сходная. Разговор шел уже о кормежке.

Асейкин без умолку болтал с орангом. Он хлопал его по плечу и переводил свои слова на английский язык.

— Поедешь с нами, приятель. Ей-богу, русские люди неплохие. Как звать-то тебя? А? Сам не знаешь? Тихон Матвеич! Слушайте, — кричал Асейкин, — его Тихоном Матвеичем зовут!

Асейкин совал ему банан. Тихон его очистил. Но супруга вырвала и съела.

— Не куришь? — спрашивал Асейкин.

Тихон взял портсигар двумя пальцами, Асейкин пробовал потянуть. «Как в тисках!» — с восхищением говорил Асейкин. Тихон держал без всякого, казалось, усилия. Он повертел в руках серебряный портсигар, понюхал его. Сингалез что-то крикнул. Тихон бросил на солому портсигар.

Марков ворчал:

— Еще табаку нажрется да сдохнет...

Сингалез объяснял, чем кормить. Нет! Ничего не понять. Наконец решили, что сингалез сам доставит обезьян — Тихона и его Леди — и корм на месяц и там покажет на деле, чего и сколько в день давать.

Марков долго торговался. Наконец Марков дал задаток.

* * *

Капитан пришел поглядеть, когда Тихон с женой появились у нас на палубе. Капитан бойко говорил по-английски. Сингалез его уверил, что этих орангов можно держать на свободе. Кормежку — все сплошь фрукты — привезли в корзинках на арбе, на тамошних бычках с горбатой шеей. Сингалез определил дневную порцию. Пароходный мальчишка Сережка успел украсть десятка три бананов и принялся дразнить Тихона. Марков стукнул его по шее. Тихон поглядел и как будто одобрил. Асейкин сказал: «Ладно, что не Тихон стукнул, а то бы Сережкина башка была за бортом». Сережка не верил, пока не увидал, как этот пузатый дядя взялся одной рукой за проволочный канат, что шел с борта на мачту, и на одной руке, подбрасывая себя вверх, легко полез выше и выше. Обезьяны ходили по пароходу. Их с опаской обходили все, хоть и делали храбрый и беззаботный вид. Фельдшер Тит Адамович глядел, как Асейкин играл с Тихоном, как наконец Тихон понял, чего хотел радист. Тихон взял в руку конец бамбуковой палки, за другой держал Асейкин. И вот Тихон потянул конец к себе; он лежал, облокотясь на люк. Он не из-

менил позы. Он легко упирался ногой в трубу, что шла по палубе. Да, а вот Асейкин как стоял, так на двух ногах и подъехал к Тихону Матвеичу.

— Як он захворает, — сказал фельдшер, — то пульс ему щупать буду не я.

— Тьфу, — сказал Храмцов, — это сила? Что, потянуть? А ну!

Храмцов держал за палку. Он дернул рывком и чуть не полетел — оранг выпустил конец. Храмцов снова бросился с палкой. Тихон поднялся, в упор глядя на Храмцова.

— Бросьте! — крикнул Асейкин.

Марков уже бежал, крича:

— Ты за нее не платил, так брось ты со своими штуками!

Но Асейкин уже хлопнул Тихона по плечу:

— Знаешь что?

Тихон оглянулся. Асейкин протянул ему банан.

— А я вам говорю, что я из него веревку совью, — говорил Храмцов и, расставив руки бочонком, как цирковой борец, важно зашагал.

* * *

Но фельдшер Тит Адамович накаркал беду. Ночью Леди-оранг стонала. Стонала, как человек стонет, и все искали на палубе, кто это. Стонала она, а Тихон держал ее голову у себя на коленях и не спал. Марков побежал, разбудил фельдшера. Тит Адамович сказал, что можно компресс на лоб, но кто это сделает? Холодный компресс. Но если Тихон обидится? Тихон что-то бормотал или ворчал над своей женой. Марков требовал, чтобы фельдшер дал хоть касторки. Касторки Тит дал целую бутылку, но Марков только стоял с ней около, да и не очень около, шагах в трех.

— Да ты сам хоть пей! — крикнул Храмцов. — Чего так стоишь?

Асейкин сидел в радиокаюте, и к орангу до утра никто не подходил.

Наутро все три компаньона ругали Маркова: обезьяна сдохнет, а Тихон от тоски в воду кинется или сбесится, ну его в болото!

Асейкин один сидел рядом и глядел, как Тихон заботливо искал блох у жены в голове. Он даже хотел помочь, когда Тихон взял жену на руки и понес ее в тень. Какая-то мошкара увязалась еще с берега; Тихон отмахивал ее рукой от больной жены. Леди часто дышала с полуоткрытым ртом, веки были опущены. Асейкин веером махал на нее издали. Но Асейкин просил, чтобы заперли воду, чтобы сняли рукоятки с кранов: оранг их умел открывать. Он наконец оставил жену и пошел за водой, это было ясно: он пробовал открыть краны. Он пошел к кухне, возбужденный, встревоженный. Он шел, как всегда, опираясь о палубу, но в дверях кухни он встал в рост, держась за притолоку, искал глазами воды. Повар обомлел: он не знал, что собирается делать Тихон, другая дверь была завалена снаружи каким-то товаром, ее нельзя было открыть. Повар боялся, что Тихон обожжется обо что-нибудь или ошпарится — обидится, взъярится, и тогда аминь. И повар потерянно шептал:

— Тише, Тишенька! Христос с тобой! Чего, голубчик Тихон Матвеич? Чего вам захотелось?

Но Тихон обвел тоскливыми глазами плиту и стол и быстро пошел к жене. Он носил ее с места на место, искал, где лучше. Но она все обвисала у него на руках и не открывала глаз.

* * *

Уже второй день Леди ничего не ела, не ел и Тихон.

Храмцов издевался. Асейкин кричал, чтобы не давали пить. Пайщики махнули рукой. Марков один только не мог примириться с неудачей. Он стоял над больной и приговаривал с тоской:

— Такие деньжищи! Да это лучше бы чаю купить этого, цейлонского...

Но вот Леди открыла глаза. Она искала чего-то вокруг себя.

Асейкин вскочил. Он понесся к фельдшеру. Назад он шел со стаканом, с граненым чайным стаканом, в нем была вода, а поверху плавал порошок. Тит Адамович шел сзади:

— Не станет она того пить, а стаканом вам в рожу кинет, увидите. Я не отвечаю, честное даю вам слово!

Но Асейкин сказал свое: «А знаешь что?» — и Тихон оглянулся. Он сам потянулся рукой к стакану, взял его осторожно и потянул к губам, но Леди подняла голову. Она хотела слабой рукой перехватить стакан. Тихон бережно за затылок придерживал ей голову, и она жадно пила из стакана.

Марков причитал:

— Все одно пропадет, только на чучело теперь...

Тихон передал стакан Асейкину, как делал всегда, Асейкин налил воды из графина. Тихон снова споил его жене. Третий стакан — за ним не потянулась, отстранила — Тихон сам выпил. Он пил с жадностью; это был третий день, что у него не было маковой росинки во рту.

Мы так и не узнали, чего намешал Тит Адамович, но на другой день Леди уже сидела. К вечеру она пошла пешком. Тихон поддерживал ее с одной стороны, Асейкин — с другой.

Храмцов уверял, что Тихону надоест, что Асейкин суется, и шваркнет он этого приятеля за борт. Но Тихон, видимо, верил Асейкину, и они втроем прогуливались по палубе. Асейкин пробовал тоже опираться рукой в палубу — все смеялись, конечно, кроме орангов. Асейкин уверял, что он уже кое-чему выучился по-обезьяньи. Он, правда, каркал иногда, но выходило по-вороньи. Обезьяны повеселели. Боцман поговаривал, чтобы Асейкин выучил

их хоть палубу скрести, а то сила такая зря пропадает.

— Какая сила такая? — перебил Храмцов. — Это лазить разве? Так он же легкий сам. А если взяться на силу — ну, бороться, — да врет этот сингалез, заливает, вроде как про тигра. Да я возьмусь с вашим Тихоном бороться, хотя бы по-русски, без приемов, в обхват, — вот увидите.

Храмцов представил, как это он обхватывает Тихона, и так это действительно приемисто, и так это вздулась, заходила его мускулатура, забегали живые бугры по плечам, по рукам, меж лопаток, что стало страшно за мохнатого, за пузатого Тихона Матвеича с рыжей бородушкой.

— А ну, как Марков будет на вахте, спробуйте, — шепотом сказал боцман.

— А кто ответит? — спросил фельдшер. — Обезьяна-то эта фунтов тридцать стоит, на русское золото — триста рублей.

Но Храмцов сказал, что он-то ведь не обезьяна, так что душить ее насмерть не будет. А что положит, то положит.

И теперь уже шепотком, по секрету от Маркова, все переговаривались, что Храмцов будет бороться с Тихоном, бороться будет по-русски, в обхват, и даже назначили когда. Все ждали развлечения. Небо, да вода, да день в день те же вахты — невеселая штука. А тут вдруг такой цирк!

* * *

Марков только что ушел в машину, когда Тихона привели на бак. Возле носового трюма должна была состояться встреча.

— А он ногой захватит, — говорил Храмцов.

— А сапоги ему надеть, — советовал боцман.

Тихону на ноги надели сапоги с голенищами — это его забавляло. Он любопытно глядел на ноги, и казалось, ему

самому тоже смешно. Но Храмцов уже стал его обхватывать, командовал, как завести руки Тихона себе за спину. Тихону все это нравилось, он послушно делал все, что с ним ни устраивали. Пузатый, с рыжей бороденкой, в русских сапогах на согнутых ногах, он казался веселым деревенским шутником, что не дурак выпить и народ посмешить.

Храмцов жал, но оранг не понимал, что надо делать.

— Сейчас я ему поддам пару!

Храмцов углом согнул большой палец и стал им жать обезьяну в хребет.

Вдруг лицо Тихона изменилось — это произошло мгновенно, — губы поднялись, выставились клыки и вспыхнули глаза. Сонное благодушие как сдуло, и зверь, настоящий лесной зверь, оскалился и взъярился.

Храмцов мгновенно побелел, опустил руки. Они повисли, как мокрые тряпки, глаза вытаращились и закатились. Оранг валил его на люк и вот вцепится клыками. Все оцепенели на местах.

— А знаешь что? — это Асейкин хлопнул Тихона по плечу. И вмиг прежняя благодушная морда повернулась к Асейкину. Асейкин рылся в кармане и говорил спешно:— Сейчас, Тихон Матвеич, сию минуту... Стой, забыл, кажись...

Храмцова уже отливали водой, но он не приходил в сознание.

В лазарете он сказал Титу Адамовичу:

— Это вроде в машину под мотыль попасть. Еще бы миг — и не было бы меня на свете. А как вы думаете, он на меня теперь обижаться не будет?

— Кто? Марков?

— Нет... Тихон Матвеич.

* * *

В Нагасаки, на пристани, уже ждала клетка. Она стояла на повозке. Агент зоопарка пришел на пароход.

Марков просил Асейкина усадить Тихона Матвеича в клетку.

— Я не мерзавец, — сказал Асейкин и сбежал по сходне на берег.

Только к вечеру он вернулся на пароход.

Никто ему не рассказывал, как Тихон с женой вошли в клетку, — будто все сговорились, — и про обезьян больше никто не говорил во весь этот рейс.

КЕНГУРА

На парусном судне «Зазноба» служил матросом один литвин, Заторский. Пудов на шесть дядя. Силы медвежьей.

Бывает, тянут хлопцы брас[1]; пятеро их стоит, тужатся, жилятся; Заторский подойдет, упрется — те только за ним слабину подбирают да на кнехт крепят.

Он откудова-то из лесов был и мужицкой повадки своей не бросал: хоть за мокрое берется, а непременно вперед в руки поплюет. Ноги узловатые, как коренья, и ходит, будто за землю хватается, так и гребет.

Бить он никогда никого не бил. Возятся с ним ребята, иной раз — в штиль ведь делать-то нечего — бросаются, как собаки на медведя, а он только смеется. Потом поплюет в руки, сгребет троих, что хвороста охапку, и положит не торопясь на палубу. Добрый был и неразговорчивый. Это уж когда с полчаса все молчат, он, бывало, вдруг хриплым басом заведет: «А у нас в зиму — самая охота...» Смешно: штиль, жара, море, как масло, а он про снег, про берлоги. Только это редко с ним бывало.

На берег идешь, там в случае скандальчик или что — за ним, как за каменной горой: в обиду не даст.

Вот как-то раз сидим мы на берегу в пивной, и Заторский с нами. Денег мало, так что выпиваем потихоньку. Молчат все.

Заторский уже начал объяснять, как у них там на волка капканы ставят, а Простынев вдруг перебивает:

---

[1] **Брас** — снасть, которой поворачивают реи.

— Идем в цирк!

Идем да идем — и так пристал; болтает, ломается. И ведь черт его знает, как он у нас на судне завелся: в каком-то порту подобрали. Жиденький весь какой-то, скользкий, дрыгается. Ну, слякоть одна.

И вечно врет. То говорит, что из Москвы, то он саратовский. А может быть, он и не Простынев вовсе? То у него мать — вдова, то он у тетки жил. Так его и звали: теткин сын.

Выпил он на грош, а орет на весь кабак: в цирк да в цирк! А по нему, шельме, видно, что это он неспроста. И все около Заторского пляшет, за рукав тянет: ничего, мол, стоить не будет, так пустят, без денег, у него там знакомые. И крестится и ругается — это все у него вместе.

Пошли мы — так он надоел. Знали, что врал. Так и оказалось: заплатили. С разговором, правда, а все-таки заплатили. Сели.

Смотрим представление. Ну, как обыкновенно: лошади, клоуны. Наверху человек двоих на зубах держал. Заторский посмотрел.

— Ну, — говорит, — ежели этот кусит... — И головой только помотал.

Под конец музыка остановилась, выходит человек в вязаной фуфайке, и с ним кенгура. В рост человека зверь, серой масти. На задних ногах, как на лыжах, стоит; передние лапки короткие, как ручки. И на всех четырех лапах у него рукавицы шарами и крепко к лапам примотаны ремешками.

У этого, что ее вывел, такие же шары на руках. Вышел распорядитель на середину и говорит:

— Сейчас почтеннейшей публике австралийский зверь кенгура покажет упражнение в боксе. Редкий случай искусства.

И вот этот человек в вязанке давай наступать на свою кенгуру с кулаками.

Она живо заработала ручками — трах-трах! — лап не

видно. Хозяин отбивается, но, видать, она его не очень-то — ученая.

Всем смешно, все хлопают. Тут снова музыка ударила, и кенгура перестала драться.

Опять выходит распорядитель, поднял руку: музыка остановилась.

— Вот, — говорит, — публика убедилась наглядно, как работает австралийский зверь кенгура! Желающие испытать свои силы могут выступить в бой без перчаток. Кенгура работает в перчатках. Если кто победит зверя, получает немедленно тут же сто рублей деньгами.

Весь цирк молчит — слышно, как фонари жужжат.

Вдруг слышу:

— Есть желающий! Здесь!

Гляжу — это Простынев орет. Подплясывает, тянет Заторского за рукав. Заторский застыдился, покраснел, отмахивается. Весь цирк на него пялится, орут все:

— На арену! Га! А!

Такой содом поднялся. Заторский в ноги глядит, а Простынев, «теткин сын», вскочил на сиденье, на Заторского руками тычет: «Вот! Вот!» — да вдруг как сорвет с него фуражку и швырнул на арену. Заторский вскочил — в проход, вниз, через барьер, за фуражкой.

Только он на арену — кенгура прыг! И загородила фуражку. Головка у нее маленькая, собачья, стоит и кулачками пошевеливает — и около самой фуражки. Тут распорядитель махнул рукой, и барабан в оркестре ударил дробь.

Заторский что-то кричит на кенгуру — ничего за барабаном не слыхать, а кенгура на него хитро так и зло глядит и все кулачками шевелит. Дразнит. Уперлась хвостом в песок, хвост у нее мясистый, упористый — твердо стоит, проклятая.

Заторский на нее рукой, как теленка, по-деревенски — видно, отпугнуть хотел.

Вдруг кенгура задней ногой, как лыжей, бах ему в живот. Да здорово! Заторский так и сел, глаза выпучил.

Вдруг, вижу, озверело лицо, побагровел весь, вскочил да как заревет быком — куда твой барабан! Как рванется на кенгуру — раз! раз! Сбил с ног и с хвоста с этого насел. Весь цирк на ноги встал, и барабан оборвался.

А Заторский и себя не помнит: где и что.

Сидит на кенгуре и молотит, морду ей в песок вколачивает.

Хозяин к нему — куда тут!.. И распорядитель и циркачи все вскочили — еле оторвали. Поставили Заторского на ноги.

Он огляделся, вспомнил, где это он, и бегом в проход, вон из цирка, как был — без шапки. Мы — за ним.

Нагнали его на углу. А он отдышаться, отплеваться не может.

Я ему:

— Чего ты озверел-то?

— Тьфу, — говорит, — обидно... зверь ведь... а с подлостью.

И тут Простынев нагоняет.

— Получил? — говорит. — Половина мне, потому без меня ты и не пошел бы!

Смотрю, Заторский снова озверел, как зарычит:

— Иди ты к...

Простынева и след простыл. Больше мы его и не видели.

А кенгуры три недели в афишах не было, так мы и в море ушли.

«СИЮ МИНУТУ-С!..»

Это было в царское время.

Провожали пароход на Дальний Восток. Стояла июльская жара, и смола, которой залиты пазы в палубе, выступила и надулась черными блестящими жгутами меж узких тиковых досок. Поп сиял на солнце, как луженый, в своем блестящем облаченье. Он кропил святой водой компас, штурвал. Он пошел с капитаном вниз кропить трехцилиндровую машину в три тысячи пятьсот лошадиных сил святой водою. Поп неловко топал и скользил каблуками по намасленному железному трапу.

— Хорошо, что не качает! — хихикнул мичман Березин своей даме.

Дама для проводов была в шелках, в страусовых перьях. На золотой цепочке играл на солнце лорнет в золотой оправе.

— Ах, страшно, не правда ли, когда буря и ветер воет: вв-вв-ву! — завыла дама и закачала перьями на шляпке.

Но мичман Березин — не простак:

— А знаете, если нам бояться бурь...

— Неужели никаких не боитесь?

— Нам бояться некогда, — и мичман браво тряхнул головой. — Моряк, сударыня, всегда глядит в глаза смерти. Что может быть страшнее океана? Зверь? Тигр? Леопард? Пожалуйста! Извольте—леопард для нас, моряков, это что для вас, сударыня, кошка. Простая домашняя кошка.

Он повернулся к юту, туда, где в кормовой части парохода был шикарный салон, где сейчас буфетчик Степан

со всей стариковской прыти готовил закуску и завтрак из одиннадцати блюд.

— Степан! А Степан! — крикнул мичман Березин; он взял свою даму под локоток. — Степан!

— Сию минуту-с! — Старик перешагнул высокий пароходный порог и засеменил к мичману.

— Покажи Ваську, — вполголоса приказал Березин.

— Сию минуту-с! — И старик буфетчик зашаркал начищенными для парада штиблетами в кают-компанию.

В кают-компании он крикнул на лакеев:

— Не вороти всю селедку в ряд! Торговать, что ли, выставили! Охломоты!

Лакеи во фраках бросились к столу, а буфетчик с дивана в своей буфетной уж звал Ваську.

Мичман Березин стоял с дамой, опершись о борт.

— Вы спрашиваете: к тигру в клетку? Родная моя! Но волна Индийского океана рычит громче! Злее! Свирепей! Это тигр в десять этажей ростом. Поверьте...

Но буфетчик уже повалил перед трюмным люком плетеное кресло-кабину японской работы — целый дом из прутьев. Степан — новгородский старик с бритыми усами — держал в руках большой кусок сырого мяса.

— Готово? — спросил мичман. — Пускай!

— Сию минуту-с!

Двери кают-компании раскрылись. В двери высунулась морда. Это была аккуратная голова леопарда с большими круглыми глазами, настороженными, со злым вниманием в косых зрачках. Он высоко поднял уши и глянул на Березина. Дама прижалась к мичману. Березин браво хмыкнул и затянулся сигарой.

— Пошел! — скомандовал Березин, подхватив даму за талию.

— Сию минуту-с! — отозвался буфетчик.

Он поднял мясо, чтоб его увидал леопард, и бросил его на трюмный люк, на туго натянутый брезентовый чехол, который прикрывал деревянные створки.

И в то же мгновение леопард сделал скачок. Нет, это

не скачок — это полет в воздухе огромной кошки, блестящей, сверкающей на солнце. Леопард высоко перемахнул через поваленное кресло-кабину и точно и мягко лег на брезент. Мясо было уже в клыках. Он зло урчал, встряхивая мордой, хвост — пушистая змея — резко бился из стороны в сторону. Он на миг замер, только ворочал глазами по сторонам. И вдруг поднялся и воровской побежкой улепетнул. Он исчез бесшумно, неприметно.

Дама трепетно держалась за кавалера. Кавалер, осклабясь, жевал конец сигары.

— Полюбуйтесь, — не торопясь произнес мичман; он подвел даму к трапу. — Вот!

Там, на палубе, на крепких тиковых досках, остались следы когтей — здесь оттолкнул свое упругое тело Васька.

— Вот как прыгают наши кошечки! Кись-кись! — позвал и щелкнул пальцами.

Дама вздрогнула и схватилась за белоснежный рукав крахмального кителя. Васька деловитой неспешной походкой прошел по палубе. Он облизывался.

— Кись-кись! — осторожно пропел Березин.

Васька не повел ухом. Он ловко зацепил лапой дверь и ленивой волной перемахнул через высокий порог кают-компании.

— Э, хотите, я его сейчас, каналью, сюда притащу? — Мичман двинулся от борта. — Вы его себе накинете вокруг шеи, горжетку такую. А?

Но дама крепче вцепилась в рукав мичмана и шептала:

— Не надо, прошу, я не хочу... я уйду...

Мичман делал вид, что вырывается.

— Степан! — крикнул мичман Березин.

— Есть! Сию минуту-с!

Буфетчик вышел из кают-компании, жмурясь на солнце.

— Не надо! Прошу! — сказала дама по-французски.

— Чего изволите-с? — Степан уже стоял, покачивая руку с салфеткой.

Мичман лукаво поглядел на даму. Она отвернулась, покраснела.

— Степан, у тебя... все готово? — спросил мичман и плутовски скосился на даму.

— Графинчики не заморозившись, — полушепотом докладывал старик, — водку надо-с как льдинку. Особо в таку жару-с. Чтоб запотевши были графинчики. Сами знать изволите-с. Они-то на льду, а я вот как на угольях: ох, быть нам не поспеть!

— Ну, ступай, ступай! Не бойтесь, сударыня, это я нарочно.— И мичман взял даму под локоток.— Кись-кись!— шепнул мичман и осторожно пощекотал локоток.

Но в это время спускались со спардека капитан и гости. Капитан — крепкий старик, лихая бородка с проседью расчесана на две стороны. Он сиял золотыми погонами, и на солнце больно было смотреть на его белый китель.

— А вот извольте — на случай пожара. Терещенко! Навинти шланг. Живо!

Матрос бросился со всех ног.

— Ах, только не поливайте! — И дамы кокетливо испугались, приподняли юбки, как в дождь.

— Нет, теперь, батюшка, дайте уж нам покропить! — И капитан захохотал деланным баском. — Правда, мичман? По-нашему.

Мичман с дамой подошел почтительно и поспешно. Батюшка, завернув в рот бороду, уважительно щурился на сиявшую, начищенную медь. Поливка развеселила всех. Мичман смеялся, когда немного забрызгало его даму.

— Ну, принесите же мой платок!— Дама, смеясь, надула губки.— Принесите мой ридикюль, я его оставила там, в кают-компании.

Мичман ловко вспрыгнул на трюмный люк и оттуда одним прыжком к кают-компании и дернул дверь.

— Эх, молодец он у меня! — довольным голосом сказал капитан, любуясь на молодого офицера.

Мичман Березин распахнул с размаху дверь и вдруг

снова запер. Запер плотно, повернул ручку. Он неспешно шагал назад, подняв брови.

— Знаете, мне пришла мысль... — вдруг заулыбался он даме. — Мне очень-очень хотелось бы, чтоб вы воспользовались моим платком, честное слово. — И он достал из бокового кармана чистенький платочек. — Я буду его... хранить как память.

— Нет, зачем же? Я хочу свой. Ну, принесите же!

Мичман молчал, протягивая платок.

— Ради бога! — шептал он. — Умоляю!

Капитан глядел нахмурясь.

— Быстрота и великолепие, — сказал батюшка капитану, но капитан, не оборачиваясь, кивнул наспех головой: он глядел на мичмана.

— Это неприлично-с, господин мичман! Немедленно отправляйтесь, исполните, что требует дама.

— Есть! — ответил мичман: он зашагал к кают-компании.

Все глядели ему вслед. У самых дверей он укоротил шаги. Он поворачивал ручку, дергал ее, он рвал дверь — дверь не открывалась. Он даже раз оглянулся назад. Все смотрели на него. Капитан прищурил один глаз, будто целился.

— Дверь не откроете? — крепким голосом крикнул капитан. — Мич-ман! — И капитан решительным шагом зашагал к двери.

— Я сама, сама! — вскрикнула дама и засеменила по мокрой палубе, стараясь обогнать капитана.

Вся публика двинулась следом. Но всех обогнал Степан. Степан-буфетчик, запыхавшийся старик, с графинчиками. Их по четыре торчало у каждой руки — зажатые горлами меж пальцев. Запотевшие, матовые — от ледяной водки внутри.

— Сию минуту-с!.. Сию минуту-с! — пришептывал старик, юля и обгоняя гостей.

Он шлепающей лакейской рысцой обогнал капитана; он уцепил пальцем ручку — дверь легко распахнулась. Ка-

питан уже стоял за плечами. У самого порога, по ту сторону дверей, лениво растянувшись, блаженно спал Васька.

— Ах, вот в чем дело! — грозно сказал капитан и перевел глаза на мичмана.

— Брысь, скотина! Брысь, брысь! — фыркнул на Ваську Степан.

Он пнул его стариковской ногой, на ходу, с досадой, и леопард прыгнул через порог и, поджав хвост, змеей шмыгнул вон, на палубу, и исчез.

Мичман стоял опустив глаза.

— Моментально отправляйтесь на берег,— сказал капитан. — Ревизор! Списать на берег га-аспадина мичмана. Ступай-те! — И капитан повернулся к гостям.

Он не видел, как мичман большими журавлиными шагами описал на палубе дугу, обошел для чего-то трюмный люк два раза вокруг и, не понимая, почему это он шагает, пошел к сходне.

* * *

Завтрак из одиннадцати блюд сошел шикарно. Капитан вышел в море с двумя помощниками, третьим стоял штурманский ученик.

А в буфетной, после тревог, в одном жилете дремал выпивший «с устатку» Степан-буфетчик. Он развалясь сидел на диванчике. На колени старику положил голову Васька. Он терся лбом о жилет и урчал, как кот. Старик пьяной рукой щелкал Ваську по уху:

— Я тебя, окаянного, вскормил, вспоил, с малых лет твоих — люди видели, не вру! А ты, шельма, скандалить? Скандалить? Через тебя, через блудню несчастную, человека на берег списали. А через кого? Через меня, скажешь? Тебя я, подлеца, спрашиваю: через меня? Через меня?

Тут Степан хотел покрепче стукнуть Ваську по носу, но в это время ревизор крикнул из кают-компании:

— В буфет!

— Есть в буфет! Сию минуту-с! — Степан отпихнул Ваську и стал напяливать фрак.— Сию... минуту-с!

МЫШКИН

Вот я расскажу вам, как я мстил, единственный раз в жизни, и мстил кровно, не разжимая зубов, и держал в груди спертый дух, пока не спустил курок.

Звали его Мышкин, кота моего покойного. Он был весь серый, без единого пятна, мышиного цвета, откуда и его имя. Ему не было года. Его в мешке принес мне мой мальчишка. Мышкин не выпрыгнул дико из мешка, он высунул свою круглую голову и внимательно огляделся. Он аккуратно, не спеша вылез из мешка, вышагнул на пол, отряхнулся и стал языком приводить в порядок шерсть. Он ходил по комнате извиваясь и волнуясь, и чувствовалось, что мягкий, ласковый пух вмиг, как молния, обратится в стальную пружину. Он все время вглядывался мне в лицо и внимательно, без боязни следил за моими движениями. Я очень скоро выучил его давать лапку, идти на свист. Я, наконец, выучил его на условный свисток вскакивать на плечи — этому я выучил его, когда мы ходили вдвоем по осеннему берегу, среди высокого желтого бурьяна, мокрых рытвин и склизких оползней. Глухой глинистый обрыв, на версты без жилья. Мышкин искал, пропадал в этом разбойном бурьяне, а этот бурьян, сырой и дохлый, еще махал на ветру голыми руками, когда все уж пропало, и все равно не дождался счастья. Я свистел, как у нас было условлено, и вот уж Мышкин высокими волнами скачет сквозь бурьян и с маху вцепляется коготками в спину, и вот уж он на плече, и я чувствую теплую

мягкую шерсть у своего уха. И я терся холодным ухом и старался поглубже запрятать его в теплую шерсть.

Я ходил с винтовкой, в надежде, что удастся, может быть, подстрелить лепорих — французского кролика, — которые здесь по-дикому жили в норах. Безнадежное дело пулей попасть в кролика! Он ведь не будет сидеть и ждать выстрела, как фанерная мишень в тире. Но я знал, какие голод и страх делают чудеса. А были уже заморозки, и рыба в наших берегах перестала ловиться. И ледяной дождь брызгал из низких туч. Пустое море мутной рыжей волной без толку садило в берег день и ночь, без перебою. А ждать хотелось каждый день с утра. И тошная дрожь пробирала каждый раз, как я выходил и ветер захлопывал за мною дверь. Я возвращался часа через три без единого выстрела и ставил винтовку в угол. Мальчишка варил ракушки, что насобирал за это время: их срывал с камней и выбрасывал на берег прибой.

Но вот что тогда случилось: Мышкин вдруг весь вытянулся вперед у меня на плече, он балансировал на собранных лапках и вдруг выстрелил — выстрелил собою, так что я шатнулся от неожиданного толчка. Я остановился. Бурьян шатался впереди, и по нему я следил за движениями Мышкина. Теперь он стал. Бурьян мерно качало ветром. И вдруг писк, тоненький писк, не то ребенка, не то птицы. Я побежал вперед. Мышкин придавил лапой кролика, он вгрызся зубами в загривок и замер, напружинясь. Казалось, тронешь — и из него брызнет кровь. Он на мгновение поднял на меня ярые глаза. Кролик еще бился. Но вот он дернулся последний раз и замер, вытянулся. Мышкин вскочил на лапы, он сделал вид, что будто меня нет рядом, он озабоченно затрусил с кроликом в зубах. Но я успел шагнуть и наступил кролику на лапы. Мышкин заворчал, да так зло! Ничего! Я присел и руками разжал ему челюсти. Я говорил «тубо» при этом. Нет, Мышкин меня не царапнул. Он стоял у ног и ярыми глазами глядел на свою добычу. Я быстро отхватил ножом лапку и кинул Мышкину. Он высокими прыжками ускакал в бурьян. Я

спрятал кролика в карман и сел на камень. Мне хотелось скорей домой — похвастаться, что и мы с добычей. Чего твои ракушки стоят! Кролик, правда, был невелик! Но ведь сварить, да две картошки, эге! Я хотел уже свистнуть Мышкина, но он сам вышел из бурьяна. Он облизывался, глаза были дикие. Он не глядел на меня. Хвост неровной плеткой мотался в стороны. Я встал и пошел. Мышкин скакал за мной, я это слышал. Наконец я решил свистнуть. Мышкин с разбегу, как камень, ударился в мою спину и вмиг был на плече. Он мурлыкал и мерно перебирал когтями мою шинель. Он терся головой об ухо, он бодал пушистым лбом меня в висок.

Семь раз я рассказал мальчишке про охоту. Когда легли спать, он попросил еще. Мышкин спал, как всегда, усевшись на меня поверх одеяла.

С этих пор дело пошло лучше: мы как-то раз вернулись даже с парой кроликов. Мышкин привык к дележу и почти без протеста отдавал добычу.

...И вот однажды я глядел ранним утром в заплаканное дождем окно, на мутные тучи, на мокрый пустой огородишко и не спеша курил папироску из последнего табака. Вдруг крик, резкий крик смертельного отчаяния. Я сразу же узнал, что это Мышкин. Я оглядывался: где, где? И вот сова, распустив крылья, планирует под обрыв, в когтях что-то серое бьется. Нет, не кролик, это Мышкин. Я не помнил, когда это я по дороге захватил винтовку, — но нет, она круто взяла под обрыв, стрелять уже было не во что. Я побежал к обрыву: тут ветер переносил серый пушок. Видно, Мышкин не сразу дался. Как я прозевал? Ведь это было почти на глазах, тут, перед окном, шагах в двадцати! Я знаю: она, наверное, сделала с ним, как с зайцем: она схватила растопыренными лапами за зад и плечи, резко дернула, чтобы поломать хребет, и живого заклевала у себя в гнезде.

На другой день, еще чуть брезжил рассвет, я вышел из дому. Я шел наудачу, не ступая почти, осторожно, крадучись. Зубы были сжаты, и какая злая голова на плечах!

Я осторожно обыскал весь берег. Уже стало почти светло, но я не мог вернуться домой. Мы вчера весь день не разговаривали с мальчишкой. Он сварил ракушек, но я не ел. Он спал еще, когда я ушел. И пса моего цепного я не погладил на его привет; он подвизгнул от горечи.

Я шел к дому все той же напряженной походкой. Я не знал, как я войду в дом. Вот уже видна и собачья будка из-за бугра, вот пень от спиленной на дрова последней акации. Стой, что же это на пне? Она! Она сидела на пне, мутно-белого цвета, сидела против моего курятника, что под окном. Я замедлил шаги. Теперь она повернула голову ко мне. Оставалось шагов шестьдесят. Я тихо стал опускаться на колено. Она все глядела. Я медленно, как стакан воды, стал поднимать винтовку. Сейчас она будет на мушке. Она сидит неподвижно, как мишень, и я отлично вижу ее глаза. Они, как ромашки, с черным сердцем-зрачком. Взять под нее, чуть пониже ног. Я весь замер и тихонько нажимал спуск. И вдруг сова как будто вспомнила, что забыла что-то дома, махнула крыльями и низко над землей пролетела за дом. Я еще удержал палец, чтобы не дернуть спуск. Я стукнул прикладом о землю, и ружье скрипело у меня в злых руках. Я готов был просидеть тут до следующего утра. Я знаю, что ветер бы не застудил моей злобы, а об еде я тогда не мог и думать.

Я пробродил до вечера, скользил и падал на этих глиняных буграх. Я даже раз посвистел, как Мышкину, но так сейчас же обозлился на себя, что бегом побежал с того места, где это со мной случилось.

Домой я пришел, когда было темно. В комнате свету не было. Не знаю, спал ли мальчишка. Может быть, я его разбудил. Потом он меня впотьмах спросил: какие из себя совиные яйца? Я сказал, что завтра нарисую.

А утром... Ого! Утром я точно рассчитал, с какой стороны подходить. Именно так, чтобы светлеющий восход был ей в глаза, а я был на фоне обрыва. Я нашел это место. Было совсем темно, и я сидел не шевелясь. Я только

чуть двинул затвор, чтоб проверить, есть ли в стволе патроны. Я закаменел. Только в голове недвижным черным пламенем стояла ярость, как — как любовь, потому что только влюбленным мальчиком я мог сидеть целую ночь на скамье против ее дома, чтобы утром увидеть, как она пойдет в школу. Любовь меня тогда грела, как сейчас грела ярость.

Стало светать. Я уж различал пень. На нем никого не было. Или мерещится? Нет, никого. Я слышал, как вышла из будки моя собака, как отряхивалась, гремя цепью. Вот и петух заорал в курятнике. Туго силился рассвет. Но теперь я вижу ясно пень. Он пуст. Я решил закрыть глаза и считать до трех тысяч и тогда взглянуть. Я не мог досчитать до пятисот и открыл глаза: они прямо глядели на пень, и на пне сидела она. Она, видно, только что уселась, она переминалась еще. Но винтовка сама поднималась. Я перестал дышать. Я помню этот миг, прицел, мушку и ее над нею. В этот момент она повернула голову ко мне своими ромашками, и ружье выстрелило само. Я дышал по-собачьи и глядел. Я не знал, слетела она или упала. Я вскочил на ноги и побежал.

За пнем, распластав крылья, лежала она. Глаза были открыты, и она еще поводила вздернутыми лапами, как будто защищаясь. Несколько секунд я не открывал глаз и вдруг со всей силой топнул прикладом по этой голове, по этому клюву.

Я повернулся, я широко вздохнул в первый раз за все это время.

В дверях стоял мальчишка, распахнув рот. Он слышал выстрел.

— Ее? — Он охрип от волнения.

— Погляди. — И я кивнул назад.

Этот день мы вместе собирали ракушки.

СОДЕРЖАНИЕ

Морские истории

Рассказы о животных

Для детей среднего школьного возраста

Борис Степанович Житков

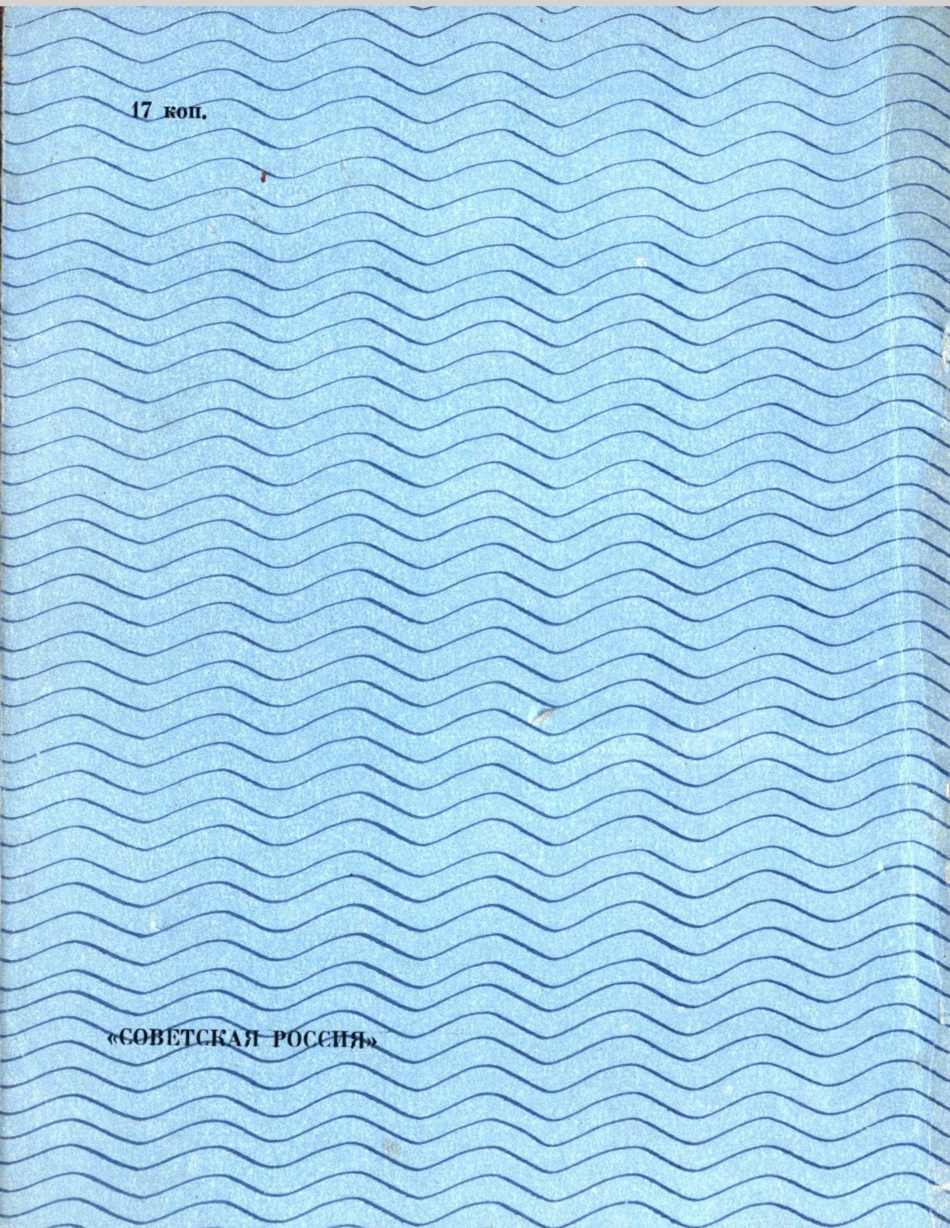
РАССКАЗЫ

Редактор **М. В. Долотцева**
Художник **В. В. Маскин**
Художественный редактор **М. В. Таирова**
Технические редакторы **В. А. Авдеева и Л. В. Шендарева**
Корректор **В. Е. Иовлева**

Сдано в набор 25/IV—1968 г. Подписано к печати 6/IX—1968 г. Формат бумаги 70×108$^{1}/_{32}$. Физ. печ. л. 4,0. Усл. печ. л. 5,48. Уч.-изд. л. 5,25. Изд. инд. ЛД-144. А09573. Тираж 100 000 экз. Цена 17 коп. Бумага № 2.

Издательство «Советская Россия». Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, г. Электросталь Московской области, Школьная, 25. Зак. 462.



17 коп.
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»